

Михайло Михайлов

*

ЛЕТГО
МОСКОВСКОЕ

*

1964

МЕРТВЫЙ ДОМ
ДОСТОЕВСКОГО
и
СОЗЖЕНИЦЫНА

*

REC-11

Михайло Михайлов

**Лето московское
1964**

**Мертвый дом
Достоевского
и
Солженицына**

ПОСЕВ

1967

Перевод с сербскохорватского
Я. Трушновича

Лето московское
1964

Прежде всего — ничто не похоже на то, что ожидает и представляет себе человек, читающий и западную и советскую печать.

На улицах стоят большие цистерны, из которых разливают русский национальный напиток — квас.

На каждом шагу — автоматы с газированной водой. стакан чистой газированной воды — копейка, с малиновым соком — 3 копейки.

На стенах домов рекламы и плакаты — выступает исполнитель западных мелодий Эмиль Хоровец.

В каждом квартале — амбулатория для вытрезвления пьяных — «вытрезвитель». Вечером пьяные встречаются часто. Днем подходят трезвые, просят закурить. Очевидно здесь это принято, так как сигареты недорогие, хотя, как правило, плохие. Когда в табачные лавки поступают болгарские «Солнце», люди становятся в очередь и берут по несколько десятков коробок.

На окраинах города ночью опасно выйти на улицу, несмотря на многочисленные патрули своеобразной народной охраны — «дружинников».

Метро не поддается описанию. Через каждую минуту или полторы подходит поезд и все действует безотказно.

На каждом углу — справочный киоск. За две копейки вы узнаете о номерах автобусов, троллейбусов, о линии метро, которые вас доставят к желаемой цели.

Шампанское продают в разлив и можно пить у стойки.

А Москва действительно огромна. По величине сегодня она занимает пятое место в мире. После Нью-Йорка, Лондона, Токио и Шанхая.

Но люди в отношениях друг с другом невероятно грубы. Сядете в ресторане за свободный стол, а официант заорет: «Разве не видите, что вон тот там не полностью занят, что вы, ослепли!» То же самое в лавках, в

автобусах, трамваях. Правда, не по отношению к иностранцам.

В отеле на Котляревской набережной, в который я хотел переехать, потому что он в самом центре города, несмотря на то, что я показал официальную путевку, служащая в приемной даже не пожелала со мной объясняться: «Говорю, нет места, чего еще здесь стоите?» Когда я вынул паспорт, начала извиняться:

— Простите, я подумала, что вы русский.

И место нашлось.

Много ли москвичи читают? Я ежедневно, находясь в вагоне метро по часу-полтора, считал людей с книгой в руках. На 20-30 человек в вагоне читают книги трое-четверо. Газеты — почти никто. Это и понятно. Советские газеты все еще не интересны. Может быть потому люди и читают книги, хотя кажется, что и в других странах, в больших городах, где приходится бесконечно сидеть в метро, тот же процент читал бы книги, — при условии, что газеты были бы похожи на советские. В руках видна только «Вечерняя Москва». В ней есть программа кино, объявления о расторжении браков, о защите диссертаций и т. п.

Метрополитен «имени Ленина», Центральная библиотека «имени Ленина» и даже Московский «ордена Ленина» — цирк! Чудно, как люди не замечают: то, что часто, слишком часто повторяется, теряет всякое значение...

В ресторанах, магазинах, автобусах, музеях, на железнодорожных станциях и аэродромах, везде, везде — красные доски. На них — одна из двух надписей. Первая: «здесь работает бригада коммунистического труда». Вторая: «здесь работает бригада, борющаяся за звание бригады коммунистического труда».

Однажды иду по улице Горького и вижу женщин, толкающихся в очереди. Это продавали дамские зонтики. Литр водки стоит столько же, сколько шесть больших долгоиграющих пластинок, и я не понимаю, откуда столько пьяных. Вообще электроприборы и фотоап-

параты очень дешевы, а текстиль, обувь и водка — непонятно дороги.

Часто встречаются «гомеопатические» аптеки.

А перед мавзолеем Ленина на Красной площади — огромная очередь, между прочим, созданная искусственно. Дело в том, что мавзолеем открыт только с 11 до 14 часов и то не каждый день. Принимая во внимание шестимиллионное население Москвы и бесконечные делегации из провинции, неудивительно, что в течение этих коротких часов скапливается большая очередь. Внутри человек ощущает какое-то странное, если можно так выразиться, — мистическое чувство. Лежит под стеклом не кто иной, как Ленин, видна щетина на небритых щеках. Торжественная тишина. И все же человек не уверен — а может быть он из воска. Очевидно нет, восковой выглядел бы более естественно. В мавзолее через каждые два шага стоят солдаты и внимательно наблюдают за руками посетителей и следят за каждым вашим движением. С собой нельзя брать никаких вещей.

В Третьяковской галерее, в зале, где выставлены произведения социалистического реализма, служащая галереи сказала мне: «Знаете, на это здесь и я не смотрю, но целыми ночами не могу выйти из складов — если бы вы знали, какая красота! Вы еще молоды, вы еще увидите эти картины выставленными здесь». Нас прервали и я так и не узнал, о каких именно картинах шла речь.

Газеты атаковали молодого художника Глазунова, чьи картины как раз выставлялись в Москве. Я пытался на нее попасть. Невозможно — очереди как перед мавзолеем. Остальные выставки — пустыют. И не зря.

На кладбище Новодевичьего монастыря лежит половина русской истории. Нашел могилу Владимира Соловьева. Кто-то заботится о ней — на могиле цветы.

В Москве сегодня 40 действующих церквей. Они переполнены, трудно протолкаться! Посещают их главным образом пожилые мужчины и женщины, есть и девушки.

Особый аттракцион — так называемые «парки культуры и отдыха», в особенности Центральный парк имени Горького. Это громадные озелененные комплексы, наполненные разнообразными аттракционами, что-то вроде венского «Пратера». На многочисленных открытых сценах ежедневно бесплатные вокальные и инструментальные концерты, народный фольклор в исполнении как различных любительских обществ, так и известных профессионалов. Крутятся карусели, танцевальные оркестры играют мелодии, бывшие у нас в моде пятнадцать лет тому назад (играли «Тико-Тико» и «Домино» и я вспомнил молодость), девушки танцуют парами. И вообще на каждом шагу заметно, что в Советском Союзе женщин гораздо больше, чем мужчин. Сейчас женщин на 20% больше, чем мужчин, и процент этот все увеличивается. К этому следует прибавить, что большое количество молодых людей — в армии и на разных сибирских стройках.

По вечерам в парке им. Горького часто устраивают фейерверки. Хлеба и зрелищ! Между тем более зажиточные москвичи проводят досуг иначе. Большая часть «высшего общества» все лето проводит в небольших лесных поселках, в деревянных домах, так называемых «дачах», недалеко от Москвы. Утром едут на работу, вечером электричкой возвращаются на дачу.

ЮГОСЛАВИЯ

— Вы, Югославия, без сомнения находитесь в авангарде, — сказал мне один из самых известных советских писателей.

Почти дословно то же самое говорили мне и многие другие советские люди. И каждый раз я вспоминал место из «Дневника писателя» Ф. М. Достоевского, где автор внезапно безо всякой мотивировки начинает пророчествовать о том, что именно южные славяне через 100 лет окажут России громадную услугу.

Вообще — Югославия присутствует в России в гораздо большей степени, чем Россия у нас.

На каждом шагу я слышал песенку из нашего фильма «Любовь и мода». Конечно поют ее в переводе; впрочем, иногда даже в оригинале. Плакаты сообщали о гастролях Люблянской оперы — «Эро с того света», о выступлении Радмилы Караклаич и о встрече югославских и советских футболистов (или, может быть, это были боксеры?); в кинозалах показывали «Любовь и моду» и еще какие-то югославские фильмы, в витрине ТАСС были выставлены фотографии только из Югославии; в газетных киосках продавался сборник современного югославского юмора; на экране телевизора я видел и слушал молодую и одаренную югославскую пианистку Божену Гринер; в Ленинграде мне говорили, что никак невозможно достать югославского еженедельника «Арена» — все поступающие экземпляры моментально расхватываются; в витринах книжных магазинов лежат два толстых тома «Истории Югославии» (издание Академии наук СССР, 1963 год); в музее Достоевского на видном месте лежит книга Милисава Бабовича «Достоевский у сербов», а М. С. Балакин, преподаватель югославской литературы в Московском университете, в скором времени выпустит «Сборник югославских народных пословиц» в соавторстве с Радмилой Джорджевич-Григорьевой. Одним словом — настоящий культ Югославии.

Но приятнее всего для меня было признание молодого лектора университета, который сказал:

— Вы в Югославии делаете нам громадную услугу тем, что издаете Пильняка, Замятина, Шестова и других модернистов. Видите, теперь и мы потянулись за вами. Подобную услугу нам оказывают еще только итальянские коммунисты. Дело в том, — пояснил он мне, — что итальянцы напечатали Пастернака, издали известную книгу о Достоевском М. М. Бахтина, а в настоящее время готовят издание Бухарина.

Это интересный и симптоматический фактор. Только после того, как западные коммунистические партии начинают признавать какого-то русского деятеля, его реабилитируют и в СССР.

С югославской литературой знакомы, к сожалению, очень мало. Знают только Нушича, Добрицу Чосича, Бранко Чопича, Десанку Максимович и Иво Андрича. О Крлеже никто, кроме специалистов, не слышад. А как раз в Советском Союзе сегодня были бы нужны его «Диалектический антиварвар», «Предисловие к подравским мотивам» и еще многое другое.

МГУ

Московский государственный университет...

Грандиозное здание на Ленинских горах. На самом деле никаких гор нет. Местность просто немного возвышается над центральной частью Москвы. Университет — достойный памятник периоду «культы». В том же стиле, как и «Дворец культуры» в Варшаве. Нефункциональный мамонт — громада со шпилем высотой в 30 метров и огромной звездой наверху. И на каждом углу — башни, а на башнях, на громадной высоте — статуи. Главное ощущение при виде здания — чувство беспомощности и собственной незначительности. В Италии я видел небоскребы и бóльших размеров, но они не производили такого зловещего впечатления.

В крыльях здания находятся студенческие общежития. Студенты ничем не отличаются от югославских. Разница лишь в том, что они работают не разносчиками молока, а кочегарами и ночными сторожами. Каждый изворачивается как знает и умеет. Говорят, что процент абортот среди студенток очень велик. Встречается большое количество черных и азиатов. Отношения с черными натянутые, в особенности после негритянской демонстрации на Красной площади прошлой зимой.

— К нам прислали одну буржуазию, — сказал о черных студентах мой официальный гид, симпатичный сибиряк Олег Меркулов.

Студенты — несмотря на то, что им постоянно угрожают ссылкой на годик-другой в так называемые трудовые лагеря, — почти ничего не боятся. Открыто дискутируют обо всем, без страха критикуют недостатки в своей стране. Правда — еще до сих пор существует некоторая взаимная подозрительность. Так, один студент, с которым я подружился, предупредил меня, что другой, его коллега — «стукач», доносчик.

Через несколько дней тот другой студент сказал мне то же самое о первом! Но все они оптимисты и все считают, что жизнь в стране с каждым днем становится лучше и свободнее. Удивило меня и то, что никто не обращает внимания на группки, распевające на ступенях лестниц во весь голос тюремные и концлагерные песни. Через иностранных студентов, — а их в МГУ около тысячи, — поступают иностранная периодическая печать, книги и пластинки, так что нет больше прежней строгой изоляции. Необычайно популярен джаз всех видов, пластинки перепродают по высоким ценам, переснимаются магнитофонные ленты — несмотря на то, что против джаза все еще ведется полуофициальная кампания (пластинки с твистом на советской границе у советских граждан отбираются). Между тем сравнительно недавно начала работать радиостанция «Юность», транслирующая передачи для молодежи, которая открыто культивирует джазовую музыку. Студенты, как всегда и везде, являются авангардом всего нового.

Я встретил молодых и неизвестных поэтов, обожающих Андрея Белого, который до сих пор не переиздается, почитателей абстракций Малевича, говорил со студентами, хорошо знакомыми с Кафкой и даже видел любителей набоковской «Лолиты». Одного лишь я не встречал среди студентов МГУ — я не встретил ни одного последователя догматического соцреализма.

ПОЛОЖЕНИЕ В ЛИТЕРАТУРЕ

Основной характерной чертой настоящего момента в советской литературе является ожидание окончательного освобождения литературы и искусства от всевозможных уз догматического марксизма. Это ощущается как на страницах газет и журналов, так и в разговорах с известными писателями и редакторами. «Приближается новый 1956-ой год» — сказал мне один известный советский литератор.

Ожидается новый роман Дудинцева.

Подготавливается издание собрания сочинений Бориса Пастернака, к сожалению, без «Доктора Живаго».

В печати находится «Процесс» Кафки, а о самом Кафке пишут все чаще и в последнее время — положительно. Так, в 5-ом номере журнала «Вопросы литературы» за 1964 год было напечатано обширное — интересное и серьезное — исследование Д. Затонского «Кафка без ретуши». О Кафке Затонский писал раньше — в журнале «Иностранная литература» № 2 за 1959 год (статья «Смерть и рождение Франца Кафки»). Теперь, в связи с опубликованием в «Иностранной литературе» № 1 за 1964 год «Преображения» и нескольких других новелл Кафки и в связи с выходом «Процесса» в переводе на украинский язык, у Затонского имеется возможность более подробно и с точки зрения исследователя говорить о великом модернисте. Советский же читатель получил возможность следить за исследованиями Затонского по оригиналу.

Статья Д. Затонского в «Вопросах литературы» начинается с высмеивания и отрицания господствовавшей в официальной литературе до последнего времени «ждановской» точки зрения на создателя «Процесса».

«В албанском еженедельнике «Дрита» выражалось возмущение тем, что на одной из научных конференций в Москве кто-то из выступавших «осмелился» анализировать произведения декадентских писателей и, в частности, Кафки. Такое заскорузлое сектанство может вызвать лишь ироническую

улыбку на устах всякого здравомыслящего человека. Чтобы понимать литературу, чтобы литературу творить, необходимо разобраться в ее истории, причем во всех ее сторонах — близких и далеких, здоровых и болезненных.

Кафка ненавидел тот обездушенный, дегуманизированный мир, в котором он жил, ненавидел глубоко и страстно. Он выразил неизбывный ужас человеческого существования в «исправительной колонии» буржуазной цивилизации; он страдал за человека и чувствовал себя за него ответственным. Это не может не вызывать сочувствия к его поиску и его боли». (Стр. 65-я).

Советский критик прежде всего дает обзор существующих работ о Кафке, с которыми он отлично знаком, и перечисляет 26 произведений, посвященных Кафке, — от Макса Брода до Гюнтера Андерса и Робб-Грийе, а после этого по порядку анализирует все произведения Кафки. Правда, в исследовании не делается никаких новых открытий и оно заканчивается стандартно:

«Традиции Кафки находятся в стороне от главной магистрали развития искусства эпохи. Судьба Кафки необычна и печальна, вероятно в большей степени, чем его творчество — это свидетельство против современного буржуазного мира, против современной буржуазной культуры. Эта судьба является своеобразным уроком и предупреждением» (стр. 109-я).

Это значит, что и Затонский послушно повторяет несостоятельный тезис о связанности Кафки с капиталистическим обществом, в то время как истина как раз в обратном, потому что Кафка провидец *тоталитарного*, бюрократизированного общества. Но, несмотря на это, появление этой обширной работы следует считать значительным вкладом в борьбу за расширение нынешних «идеологических границ».

Многие из писателей и критиков, особенно молодых, с которыми я говорил, а больше всего аспиранты из МГУ, в полном смысле слова сходят с ума по Кафке. У нас в Югославии Кафка никогда не вызывал такого воодушевления.

Одним словом, в самом скором времени можно ожидать появления многочисленных русских «кафкологов».

В большом количестве переводятся классики западноевропейской литературы. В 1963 году вышло собрание стихов Рембо. Готовится издание «По ком звонит колокол» Хемингуэя. Поражает то обстоятельство, что сегодня широкая публика больше всего читает Соммерсета Моэма, в то время как Манн, единственный из современных классиков, почти полностью переведенный на русский язык (кроме «Иосифа и его братьев»), — не вызывает большого интереса.

К сожалению, нет еще и речи о том, чтобы допустить переводы Т. С. Эллиота, Джойса, Д. Х. Лоуренса, Х. Джеймса, Марселя Пруста, В. Вульф, Малларте, Беккета, Йонеску, Камю, Хессе и многочисленных иных великих мастеров нашего времени. В философии положение точно такое же — там до сих пор даже и не упоминают имен Лукача, Фрейда, Гольдманна, Блоха, Фромма, не говоря уже о Ясперсе, Хейдеггере и Е. Мунье. К счастью, мне удалось установить, что многие молодые советские научные работники, а также некоторые студенты читают всех этих авторов — в оригиналах, которые достают с большим трудом и перепродают по высоким ценам (я видел «Уллиса» Джемса Джойса, купленного за 10 руб.).

Наиболее популярный русский писатель в последнее время — Солженицын. Мне рассказывали, что только в текущем году на филологическом факультете МГУ защищалось 4 дипломных работы о творчестве создателя «Одного дня Ивана Денисовича». А ленинская премия, между тем, присуждена в этом году (1964-ом. — Прим. переводчика) украинскому писателю О. Гончару за «роман в новеллах» — «Тронка».

Гончар — типичный бесконфликтный «лакировщик», неосоциалист, описавший беззаботную жизнь в одном колхозе, где все конфликты — на уровне детских ссор, оканчивающихся примирением, и мы видим, что даже бывший охранник сталинского концлагеря, — на-

ходящийся в настоящее время на пенсии, на которую он в состоянии купить автомашину, — осознает свои «заблуждения» во времена «культа»:

«Бывает, что ночью не сплю — все думаю: что же это было за колдовство? Какое это нас охватило кровавое помрачение? Как это мы ему одному, идолу нашему, молились, как ему верили...

— Да, так это было, — согласился Дорошенко. — Срам! Стыдно перед всем светом.

— Те молодые думают, что все это так просто: отцы плохие, отцы «труссы», а вот мы чисты, как ангелочки. Посмотрим еще что еще вылупится из этих ангелочков. Под музыку плясать — это одно, а жить...» (Олесь Гончар, «Тронка», изд. «Молодая гвардия», Москва, 1964, стр. 202-я).

Вся книга производит впечатление убогости и бездарности.

Внимание между тем привлекают многочисленные реабилитации до сих пор проклинавшихся модернистов и эмигрантов. Если события будут развиваться в этом направлении, а все говорит за то, что именно так и будет, недалек день, когда сольются Союз советских писателей и Союз русских писателей в Париже, председателем коего является известный новеллист Борис Зайцев.

В первом номере журнала «Москва» за 1964 год реабилитирован Пильняк, опубликован его рассказ, до сих пор не известный. В восьмом номере журнала «Знамя» опубликованы неизвестные еще рассказы Исаака Бабеля, а в журнале «Москва» — воспоминания Николая Чуковского об Осипе Мандельштаме и несколько стихов Мандельштама. В печати сборники стихов Мандельштама и Гумилева. Ощущается увеличение популярности Николая Гумилева (1886-1921), большого и талантливого русского поэта. Я слышал славословия молодых студентов-поэтов в адрес Гумилева. Поэт этот у нас почти неизвестен, хотя он, наряду с Маяковским, Цветаевой и Есениным, — один из самых значительных русских поэтов двадцатых годов нашего столетия,

вождь движения акмеистов, муж Анны Ахматовой, расстрелянный в 1921 году за участие в контрреволюционном заговоре. По этой причине этот крупный поэт замалчивался на своей родине. В Большой Советской Энциклопедии издания 1952 года имя Гумилева даже и не упоминается.

Гумилев был очень живой, целостной и мужественной личностью. Он окончил Сорбонну, руководил двумя экспедициями в Африку, основал «Русское общество охоты на львов», пошел добровольцем на фронт во время первой мировой войны, активно боролся против советской власти. Поэзия Гумилева полна силы и жизненной энергии, это поэзия, прославляющая бесстрашных конквистадоров, завоевателей, мореплавателей, всех тех, кто ежедневно без страха смотрит смерти в глаза. И его сегодняшняя популярность в стране чрезвычайно симптоматична.

Своим бесстрашием и дерзким поведением на допросах в ленинградской ЧК Гумилев привел следователей в такую ярость, что они, узнав о том, что Горький поспешил к Ленину и получил от него гарантию, что Гумилев не будет расстрелян, поторопились и тут же ликвидировали поэта. Замятин в своих воспоминаниях о Горьком пишет:

«Случилось так, что незадолго до его отъезда (из России — прим. М. М.), я, возвращаясь из Москвы в Петербург, оказался в одном вагоне с Горьким. Была ночь, весь вагон уже спал. Вдвоем мы долго стояли в коридоре, смотрели на летевшие за черным окном искры и говорили. Шла речь о большом русском поэте Гумилеве, расстрелянном за несколько месяцев перед тем. Это был человек и политически и литературно чужой Горькому, но тем не менее Горький сделал все, чтобы спасти его. По словам Горького, ему удалось добиться в Москве обещания сохранить жизнь Гумилева, но петербургские власти как-то узнали об этом и поспешили немедленно привести разговор в исполнение. Я никогда не видел Горького в таком раздражении, как в эту ночь». (Е. Замятин. «Лица». Издательство имени Чехова, Нью-Йорк, 1955, стр. 93-я).

В 1964 году вышла книга стихов Марины Цветаевой.

Изо всех русских модернистов только Замятин и Ремизов все еще находятся на черной доске; однако меня поразило, что многие хорошо знакомы с их произведениями, даже с теми, которые опубликованы только на Западе.

Характерно появление целой лавины работ о Достоевском. Появляются и новые, все более и более интересные критики, как, например, Чирков и Зунделович (И. О. Зунделович: «Романы Достоевского», Ташкент, 1963 г., М. М. Чирков: «О стиле Достоевского», изд. Академии наук СССР, Москва, 1963 г.).

Подготавливается издание полного собрания сочинений Федора Михайловича, включая письма, дневники и все, что великий писатель когда-либо написал. Большой шум поднялся вокруг книги М. М. Бахтина «Проблемы поэтики Достоевского» (издательство «Советский писатель», Москва, 1963), являющейся, кстати, расширенным и переработанным изданием его книги «Проблемы творчества Достоевского» (изд. «Прибой», 1929 г.). Дело в том, что Бахтин был последователем так называемой «формалистической школы» в науке и литературе и его книга представляет собой большую ценность в области теории романа. Но поскольку «формалистов» в течение десятилетий предавали анафеме, выдающийся ученый вынужден был оправдаться в своеобразную ссылку — в университет в Саранск, главный город Мордовской автономной республики, где он находится и в настоящее время.

Реабилитация Бахтина последовала после недавнего выхода его книги в Италии. Но каждая реабилитация одновременно вызывает и обратную реакцию. Так, книгу Бахтина атаковал долголетний «официальный арбитр» Дымшиц в «Литературной газете» (за 11 июля 1964 г.). Но необыкновенно интересно и то, что на этот раз против Дымшица единым фронтом поднялись наиболее выдающиеся советские критики: Асмус, Перцев,

Шкловский, Храпченко, а также Василевская и Мясников («Литературная газета» от 6 и от 13 августа 1964 г.). Еще занимательнее то обстоятельство, что на защиту Бахтина встал и В. Ермилов, многолетний злостный теоретик соцреализма. Это означает: силы русского возрождения окрепли до такой степени, что даже наиболее закоренелые соцреалисты начинают перебегать в лагерь противника.

Вообще повсюду ощущается усиление популярности Достоевского, что и понятно. XX съезд, разрушив многолетний миф, «обезглавил» многих людей, выбил у них из-под ног психологическую основу и во всяком случае создал немалое количество потерявших себя людей, похожих по своему внутреннему состоянию на героев «Преступления и наказания». Как раз когда я был в Москве, вышла объемистая книга Г. М. Фридендера «Реализм Достоевского» (изд. «Наука», Москва-Ленинград, 1964 г.). Интересно, что даже секретарь комсомольской организации Ленинградского университета Светлана Саруханова с воодушевлением говорила о Достоевском и повела меня в музей писателя, в комнату великого классика.

Удивило меня отношение большинства молодежи, с которой мне пришлось встречаться, к Шолохову, да и к Леонову. Их больше не считают живыми писателями.

— Это только памятники, — сказал мне один аспирант и добавил: — Шолохов когда-то до войны был художником...

Необыкновенной популярностью среди молодежи пользуется и современный советский мистик — Александр Грин. Недавно в «Литературной газете» я прочел, что Грин издается миллионными тиражами и в этом отношении он оставил позади себя всех остальных русских писателей, включая сюда и классиков XIX века.

Александр Грин (1880-1932) родился в захолустной русской провинции (г. Вятка) и прожил необычай-

но трудную жизнь наемного рабочего, бродяги, профессионального революционера, солдата гражданской войны и т. д. В своих романах и повестях он создал странный мир мечты, мир, в котором побеждают правда и красота, в котором вечно сияет солнце и добрым людям дается в награду счастье. Его романы и рассказы отличаются необыкновенно интересными «авантюристическими» фабулой и завязкой. Начиная с названий несуществующих городов «Гель-Гью», «Зурбаган», «Лисс», несуществующих земель и океанов, — все у Грина выдуманно и нереально, кроме осязаемой реальности человеческой мечты.

«Человек имеет право видеть не то, что объективно существует, а то, что он желает видеть» — эти слова героини наиболее значительного романа Грина «Бегущая по волнам» (у нас в Белграде несколько лет тому назад переведен под названием «Луталица по валовима» — «Бродящая по волнам») — могли бы послужить эпиграфом ко всему творчеству Грина. Но мир Грина необычен не только потому, что в нем все хорошо кончается и что там вечно сияет солнце, но и потому, что действия героев Грина стимулируются главным образом интуицией, телепатией, ясновидением и вообще всевозможными явлениями парапсихологии. Тот факт, что в СССР при Академии медицинских наук недавно образован Институт по изучению явлений парапсихологии, показывает, что творчество А. Грина ближе к реальности (или к своеобразной сверхреальности), чем это до сих пор предполагалось.

Много лет Грин находился в черном списке и его почти вообще не печатали, а если его имя и упоминалось, то только в связи с грубыми нападками на него, как, например, в статье В. Важдаяева «Проповедник космополитизма» в журнале «Новый мир» № 1 за 1950 год или в статье Тарасенкова «О национальных традициях и буржуазном космополитизме» в журнале «Знамя» № 1 за 1950 год. В Большой Советской Энцикло-

педии (издание 1952 года) находим следующие строки о Грине:

«В произведениях послеоктябрьского периода Г. противопоставляет реальной советской действительности некую «страну-мечту» с несуществующими экзотич. городами Зурбаган и Гель-Гью — своего рода вненациональный космополитич. рай. Воспевая «сверхчеловека» ницшеанского типа, Г. тенденциозно противопоставляет своих героев — «аристократов духа», людей без родины — народу, к-рый предстает в его произведениях в виде темной, тупой и жестокой массы, не способной к творческой деятельности («Канат», «Алые паруса»). Реакционно-мистич. идеи Г. чаще всего облечены в форму занимательного повествования, построенного на авантюрно-детективном сюжете».

Но времена меняются: прошло всего пять лет и в предисловии к избранным сочинениям Грина Константин Паустовский пишет:

«Грин населил свои книги племенами смелых, простодушных, как дети, гордых, самоотверженных и добрых людей... Мир, в котором живут герои Грина, может показаться нереальным только человеку, нищему духом... Нужно быть слепым, чтобы не видеть в книгах Грина любви к человеку... Он писал о неизученности и могуществе природы...» (А. Грин, «Избранное», изд. «Правды», Москва, 1957, 17-я стр.).

Необыкновенной популярностью пользуется всякая научная фантастика. Достать научно-фантастический роман невозможно. Громадные тиражи расхватываются в полдня. Сегодня наиболее популярен в этой области Исаак Азимов — американский писатель, которого начали недавно печатать.

Вообще достать хорошую книгу очень трудно, главным образом по той причине, что наиболее интересные произведения — исключая научную фантастику — издают необычайно малыми тиражами, в связи с тем, что идеологические рамки все еще действуют. Так, известный роман Дудинцева «Не хлебом единым» издан тиражом в 30.000 экз., книга Бахтина о Достоевском в 9.500 экз., книга новатора-теоретика искус-

ства Турбина, вокруг которой поднялось много пыли*) — в 22.000 экз., а книга избранных произведений Берта Брехта — в 5.000 (пять тысяч!) экземпляров.

Но с приходом нового поколения научных работников положение, вне всякого сомнения, изменится. Один аспирант МГУ, специализирующийся на современной западноевропейской литературе, на мой вопрос, когда в СССР будут печататься Джойс и Пруст, ответил:

— Если бы это от меня зависело — завтра.

И так повсюду. Когда вы говорите с профессором, то имеете дело с одним миром, но уже в разговоре с ассистентом этого же самого профессора вы сталкиваетесь с миром совершенно другим. Конечно, сейчас главным вопросом все еще является вопрос сроков наступления полной либерализации.

Суть ждановщины не в требовании, чтобы искусство было реалистическим, а не модернистическим, — а в требовании, чтобы оно было единообразным. Я думаю, что догматики скорее допустили бы унифицированный модернизм, чем согласились бы с тем, что пусть бы даже незначительное количество художников отделилось от общего реалистического, т. е. соц-реалистического течения.

Известный критик первого послеоктябрьского десятилетия Александр Воронский именно об этом и говорил на Первом всесоюзном съезде писателей в январе 1925 года:

«Они хотят стоять с дубиной и размахивать ею над вашими головами. Тому, у кого голова чуть повыше других, — эту голову сшибут. Тою же дубиной будут вам диктовать тему, идею, стиль. Я опасаюсь, что через несколько лет литература станет бездушной, как задачник. Романы и поэмы будут выделяться по утвержденной норме. По строгому приказу бу-

*) Имеется в виду книга «Товарищ время и товарищ искусство». — Прим. пер.

дут фабриковаться и идиллии и оды, вопреки реальности, вопреки художественной правде». («Литературный современник» № 2 за 1951, стр. 84-я*)

То, что опасения Воронского были оправданы, подтвердил М. Шолохов в феврале 1956 года, сказав следующее (в своем выступлении на XX съезде КПСС. — Прим. пер.):

— «Ну, и пошла писать губерния... Фадеев оказался достаточно властолюбивым генсеком и не захотел считаться в работе с принципом коллегиальности... работать с ним стало невозможно. 15 лет тянулась эта волынка... А разве нельзя было в свое время сказать Фадееву: «Властолюбие в писательском деле — вещь никчемная. Союз писателей не воинская часть и уж никак не штрафной батальон, и стоять по стойке «смирно» никто из писателей перед тобой не будет, тов Фадеев». («Правда» от 21 февраля 1956 г., стр. 8, 3-й абзац 4-ой колонки).

Между тем тот же самый Шолохов с удовольствием допускает как учреждение в Ростове-на-Дону «Института по изучению жизни и творчества Михаила Шолохова», так и всевозможные упражнения советской печати по созданию культа его имени.

И все же, несмотря на то, что сегодняшнее положение нельзя сравнить с положением 10 лет тому назад, — все еще существует официально признанная схема соцреализма, обязательная для всех членов Союза писателей (правда, она гораздо более эластична, чем прежняя). В 8-м номере журнала «Коммунист» за 1964 год опубликована статья В. Чалмаева «Герой и героическое в советской литературе», из которой видно, что силы воинствующего догматизма все еще очень сильны. В Москве несколько престарелых профессоров с воодушевлением советовали мне прочесть этот номер «Коммуниста» со статьей Чалмаева.

Но все же сторонники соцреализма находятся сегодня в незавидном положении, так как самое появление термина «социалистический реализм» связано с

*) Обратный перевод. — Прим. пер.

именем Сталина. Вот как описывает зарождение соцреализма один из советских литераторов:

«О характерных чертах советской литературы тех лет (речь идет о начале 30-х годов. — М. М.) говорилось очень много, широкий обмен мнениями закончился на квартире Горького 26 октября 1932 года, когда впервые прозвучали слова «социалистический реализм», получившие впоследствии всеобщее признание. Произнес их в тот вечер Сталин и они увенчали и закончили коллективные размышления и поиски художников». (В. Озеров. «На путях социалистического реализма», Москва, 1958, 13-я стр.*)

Особым, необыкновенно важным фактором в сегодняшнем положении является конфликт с Китаем. В августе (1964 года. — Прим. пер.) китайская печать атаковала молодых писателей Вознесенского, Евтушенко, Ахмадулину в тех самых выражениях, в каких они были осуждены весной 1963 года на «исторической» встрече «руководителей партии и правительства с представителями творческой интеллигенции». Теперь «Известия» начали защищать поэтов и писателей теми же словами, которыми писатели в прошлом году оборонялись от атак Ильичева. Вообще метод полемики с китайцами является сегодня наилучшим оружием в борьбе с собственными ждановцами.

Одним словом, положение для освобождения молодых сил в искусстве очень благоприятно и вся молодежь смотрит в будущее с большим оптимизмом. Наиболее живую и кипучую русскую литературу сегодня представляют: плеяда молодых поэтов — Андрей Вознесенский, Евгений Евтушенко, Белла Ахмадулина, Римма Казакова, Новелла Матвеева, Юнна Мориц, Роберт Рождественский, Тамара Жирмунская, Виктор Соснора и поэты среднего поколения — Евгений Винокуров и Булат Окуджава. Леонид Мартынов — признанный корифей, но ему уже 50 лет. Прозу, кроме писателей среднего возраста — Солженицына и Дудин-

*) Обратный перевод. — Прим. пер.

цева и старика Паустовского, представляет плеяда молодых прозаиков-«шестидесятников»: Владимир Тендряков, Юрий Бондарев, Василий Аксенов, Виктор Некрасов, Юрий Казаков, Сергей Никитин, Наталия Тарасенкова, Иосиф Дик, Павел Нилин и молодой сибирский прозаик Виль Липатов. Но ежедневно появляются новые таланты, которые прежде всего поражают смелостью в постановке «больных» вопросов советского общества.

Все реже такие явления, как запрещение и изъятие сборника «Тарусские страницы» (1961), изданного в 30.000 экземплярах, в котором были напечатаны произведения Паустовского, Окуджавы, Заболоцкого, Цветаевой и многих других известнейших творцов советской литературы.

Евгений Замятин в 1921 году писал:

«Главное в том, что настоящая литература может быть там, где ее делают не исполнительные и благонадежные чиновники, а безумцы, отшельники, еретики, мечтатели, бунтари, скептики. А если писатель должен быть благоразумным, должен быть католически-правоверным, должен быть сегодня — полезным, не может хлестать всех, как Свифт, не может улыбаться над всем, как Антоль Франс — тогда нет литературы бронзовой, а есть только бумажная, газетная, которую читают сегодня и в которую завтра завертывают глиняное мыло...

Я боюсь, что настоящей литературы у нас не будет, пока не перестанут смотреть на демос российский, как на ребенка, невинность которого надо оберегать. Я боюсь, что настоящей литературы у нас не будет, пока мы не излечимся от какого-то нового католицизма, который не меньше старого опасается всякого еретического слова. А если неизлечима эта болезнь — я боюсь, что у русской литературы одно только будущее: ее прошлое». (Евгений Замятин: «Лица», издательство имени Чехова, Нью-Йорк, 1955, стр. 189-я).

Как раз молодое советское поколение с его бескомпромиссной «ересью» вселяет в нас надежду, что будущее русской литературы не только в ее прошлом.

АКАДЕМИК ГУДЗИЙ

В самом центре Москвы, вблизи Красной площади и Филологического факультета, по улице Грановского номер 10, живет академик Гудзий — в настоящее время наиболее известный и наиболее значительный историк русской литературы. Громадных объемов «История русской литературы» Гудзия (от древнейших времен до XX века) переиздавалась в СССР 6 раз и переведена на несколько языков. Встречу с Гудзием устроил мне Иностранный отдел МГУ, и это было начало моих контактов с выдающимися русскими литераторами.

В квартире, набитой до потолка книгами, набитой ими до такой степени, что ни в одной комнате нельзя увидеть ни кусочка стены (хозяин утверждает, что книг свыше 10.000) — симпатичный и любезный старичок, академик и долголетний профессор Московского университета, с гордостью показывал мне редкие и ценные издания Алексея Ремизова, Евгения Замятина, Андрея Белого. С особенной гордостью показал он мне письмо «русского Кафки» — Алексея Ремизова из Парижа, отправленное за несколько дней до смерти. Ремизов его только подписал. Перед смертью он совсем ослеп.*)

У Гудзия я также впервые увидел известную монографию Наталии Кодрянской о Ремизове (Наталия Кодрянская, «Алексей Ремизов», Париж, 1959). Это только подтверждает мое утверждение о том, что современные русские критики и историки внимательно следят за эмигрантской литературой и в один прекрасный день начнут много о ней писать.

Николай Каллиникович Гудзий любезно предложил мне телефонные номера некоторых московских писа-

*) А. Ремизову в последние годы его жизни помогала вести переписку вдова Евгения Замятина — Людмила Николаевна Замятина. Супруга А. Ремизова, Серафима Павловна, скончалась за несколько лет до смерти мужа. — Прим. пер.

телей и тем самым дал мне идею самому связаться по телефону с писателями, которые меня интересовали.

Позже от профессора Балакина, преподавателя югославской литературы в МГУ, я узнал, что Гудзий в свое время просил его перевести одну мою работу об «Анне Карениной» («Новое об «Анне Карениной» «Летопись Матице српске» № 1 за 1964 г.), в которой я атаковал проф. Гудзия, и что уважаемый историк на меня не обиделся, а решил опубликовать резкий ответ в журнале «Русская литература». Но обо всем этом он при мне даже не обмолвился.

МИХАЙЛОВСКИЙ В УЗКОМ

В нескольких километрах от последней станции метро «Новые Черемушки», по направлению к востоку от центра города, среди классического русского пейзажа — грустного леса, берез и прудов — находится санаторий Академии наук СССР — Узкое.

В большом здании постройки 18-го века, в стиле тургеневских «дворянских гнезд» с дорическими колоннами у парадного входа, отдыхают, а в летние месяцы живут и работают советские академики. Здесь я посетил Бориса Михайловского, известного историка новейшей русской литературы, который находится на излечении после второго инфаркта.

Михайловский, как и другие научные работники, с которыми я говорил, с большим оптимизмом смотрят на реабилитацию русских модернистов. Он сообщил мне, что как раз готовит для издательства Академии наук III том «Истории русской литературы периода 1890-1917 годов», в которой будут подробно освещены и Белый, и Андреев, и Ремизов. В 1939 году Михайловский написал книгу «Русская литература XX века», которая, несмотря на многочисленные умолчания и недостатки, все же сыграла определенную роль в то

время, когда само упоминание имен символистов считалось недопустимым.

Академик Михайловский, аккуратный пожилой господин с чеховской бородкой, сказал мне, что с детства мечтает посетить Югославию.

— Если бы меня спросили, в какую страну я хотел бы поехать, я сказал бы: в Югославию — говорил он в то время, когда мы обходили здание санатория и рассматривали оригиналы Репина и других русских художников, картинами которых увешаны стены комнат и залов. Санаторий, кстати сказать, ничем не напоминает больницу, а скорее похож на первоклассный отель или роскошный закрытый клуб.

Михайловский рассказал мне, что в этом доме когда-то жил великий русский философ Владимир Соловьев.

ПОИСКИ ГОЛОСОВКЕРА

Еще до отъезда в Москву я решил во что бы то ни стало отыскать Якова Эммануиловича Голосовкера. В 1963 году в издательстве Академии наук вышла его небольшая книжка «Достоевский и Кант», которая резко выделялась из нынешнего множества работ о великом русском классике. Имя автора было мне совершенно неизвестно, но книга была из ряда вон выходящая.

Первым, кого я спросил о Голосовкере, был декан филологического факультета д-р Соловьев. Он этого имени не слышал. Академик Михайловский слышал, но, говоря о нем, как-то странно усмехнулся и сказал, что это очень необыкновенный человек, а кроме того он не литератор, а философ... адреса его он не знал. Академик Гудзий знал. Он предупредил меня, что это очень необыкновенный чудак, долгие годы пробывший в лагерях и вообще невозможный человек, так как никогда не идет ни на какие компромиссы, и что у него странные идеи. Ввиду того, что я с его идеями уже был знаком и их разделял, все то, что говорили о Голосовкере поч-

тенные академики, только усиливало мой интерес к нему.

Несколько дней я пытался вызвать Голосовкера по телефону — никто не отзывался. Тогда я пошел к нему на квартиру (к счастью, она была недалеко от моего отеля, на Ленинских горах) — никто не открыл. На завтра я снова пошел и снова напрасно. Я постучался в соседнюю квартиру и узнал, что может быть соседка этажом выше знает адрес племянника Голосовкера, а тот наверное знает, где старик. Что Голосовкер старик и даже с длинной белой бородой, я узнал впервые от этой женщины, — а я, читая книгу, думал, что автор молодой человек, до такой степени его мысли и идеи были дерзки и смелы. Соседки этажом выше не было дома. На следующий день тоже. И только третья попытка увенчалась успехом. Я получил номер телефона племянника Голосовкера.

После этого все началось сначала. Сначала на телефонные звонки никто не отзывался, потом женский голос сообщил, что Сигурт Оттович Шмидт, племянник, которого я разыскивал, уехал на дачу, где у него нет телефона и неизвестно, когда он вернется; что Голосовкер находится в больнице, а она (впоследствии я узнал, что говорил с домработницей) не имеет права сказать, в какой больнице, — пусть даже я с Луны, а не из Югославии. Все уговоры остались безрезультатными. Адреса больницы я не узнал. А больниц в Москве бесконечное множество.

Тут был тупик. Далее я не мог ничего предпринять. Решил время от времени звонить по обоим номерам. Все напрасно. Из квартиры Голосовкера никто не отзывался, а его племянник с дачи не возвращался. Мое желание видеть необычного философа не уменьшалось, а благодаря тому, что мне никак не хотели открыть его местопребывания, только увеличивалось.

И только в последний день пребывания в Москве, когда я, уже ничего не ожидая, по привычке поднял

трубку — я неожиданно получил связь с тов. Шмидтом, то есть с племянником.

Необыкновенно любезный мужской голос сообщил мне, что Яков Эммануилович тяжело болен, и что навещать его в больнице запрещено. (Однако для меня осталось непонятным, почему он не захотел сказать, в какой именно больнице, так как если посещения запрещены, то меня к нему все равно не допустили бы).

Голосовкеру, сказал мне Сигурт Оттович, сейчас 74 года и всю свою жизнь он прожил одиноко. Он окончил Киевский университет, по образованию классик, между первой и второй мировыми войнами было издано много его переводов из античной лирики, в особенности Пиндара; издавались и его переводы Гельдерлина. О нем с похвалой писал Луначарский. В лагеря он был заключен на очень короткий срок — сказал тов. Шмидт — всего на пять лет.

Книга «Достоевский и Кант» является только малой частью его работы о Достоевском. Будем надеяться, что и остальной материал мы когда-то увидим при дневном свете, несмотря на то, что его автор — «чужак, не идущий на компромиссы».

Из того, что мне в России не удалось осуществить, меня больше всего досадует, что я не добрался до Голосовкера. Судя по всему — это большой человек и мыслитель.

ВЛАДИМИР ДУДИНЦЕВ

Владимир Дудинцев! Это имя в советской литературе является символом 1956 года. Хорошо помню, с каким нетерпением и ожиданием в первый раз читал я роман «Не хлебом единым». Ведь это была первая русская книга, переведенная у нас после 1948 года. И помню, что сначала я был разочарован: книга так себе, ничего особенного, обыкновенный реалистический роман об инженере, который борется за осуществление своего изобретения. И были непонятны причины громадного шума, поднятого в СССР вокруг этого романа.

Непонятно было, почему американцы сделали по роману уже два фильма, почему болгарский философ, академик Тодор Павлов открыто предал роман анафеме и почему роман в рекордный срок был переведен на восемнадцать языков.

И только гораздо позже, читая роман вторично, я понял, что за непрезентабельной формой «производственного романа» скрыта подлинная большая трагедия современного советского общества, то есть трагедия существования индивидуального таланта, который *должен* поставить на карту всю свою жизнь, свое физическое существование, чтобы осуществить свою идею. А ведь дело шло об идее технического порядка и именно поэтому увеличивалось и значение трагедии. Вы невольно ставили себе вопрос: а что бы произошло с тем, кто попытался бы принести людям новую идею какого-нибудь другого порядка — философскую, политическую, социальную?

Потом о Дудинцеве стали все меньше писать. В 1960 году вышел его рассказ «Новогодняя сказка» (также переведенный на шесть языков). Но его имя в советской печати больше не упоминалось. И только в июне этого года во время большой полемики вокруг повести молодого сибирского прозаика Виля Липатова «Чужой» имя Дудинцева снова появилось под одной из статей. Значит — существует, подумал я, и решил его посетить.

Пришел я вечером около 21 часа (в Москве в июне день почти до полуночи) в большой дом № 19 по проспекту Ломоносова вблизи МГУ. В этом громадном доме, как я позже узнал, живут только литераторы, так же, как в большом доме № 14 на том же проспекте живут только профессора университета. Несчастье состояло в том, что как раз в доме № 14 я в этот день был на обеде, который продолжался до 21 часа и на котором я, не привыкший к стопкам-мамонткам, выпил слишком много водки. И произошло то, что я, подогретый

«Столичной», придя к Дудинцеву, — к счастью, дом № 19 был недалеко от дома № 14, — весь вечер произносил пламенные речи о том и о сем, а больше всего об Югославии, не дав хозяину возможности произнести за весь вечер больше десяти слов. Я рассказывал об Адриатическом море, о рабочих советах, об обороте и еще о чем-то, и о том, что в Югославии читают всю печать восточную и западную и т. д. Дудинцев только ставил вопросы и несколько раз повторил:

— Да, да, вы, конечно, идете вперед!

Я ушел около полуночи, очень довольный собой. И только на другой день я впал в глубокую депрессию — ведь я шел к Дудинцеву, чтобы ему задавать вопросы, а вышло так, что я не дал ему высказаться. Снова я телефонировал, извинялся по поводу своего многословия, выразил глубокое сожаление по поводу того, что пропустил возможность узнать у него о его планах, работе и т. д. Писатель был чрезвычайно любезен и предложил мне заходить к нему, когда мне захочется, чтобы наверстать упущенное.

Это я и сделал.

Дудинцев небольшого роста с большой круглой головой и умными живыми глазами, глядящими из-за толстых очков по-детски весело и непосредственно. Вообще не похож на свой портрет, которым снабдило югославское издательство «Минерва» его роман. Очень часто встает со стула, подходит к рабочему столу и что-то записывает. Без малейшего колебания могу утверждать, что это самый симпатичный и один из самых честных людей, которых я встречал в Москве.

Живет с женой и тремя дочерьми, учащимися в средней школе, живет очень и очень скромно. Для пропитания он и его супруга вынуждены непрерывно заниматься переводами с украинского. Несмотря на то, что гонорары в СССР сравнительно велики и что немалое количество поэтов, живущих на 1 сборничек своих стихов целый год (как, например, Евгений Винокуров), — Дудинцев и другие «непокорные» писатели ед-

ва сводят концы с концами из-за того, что их произведения издают минимальными тиражами. Писатель показал мне экземпляр своего романа, перепечатанный на пишущей машинке, который ему прислали из провинции. Это, вероятно, единственный роман в XX веке, переписываемый до сих пор от руки и распространяющийся таким образом.

— Мне не хватает всего четырех с половиной месяцев свободного времени, чтобы закончить новый роман, — жаловался писатель.

Новый роман носит название «Неизвестный солдат» и тематически посвящен конфликту биологов — последователей Лысенко и так наз. морганистов в 1948 году, времени, когда последние погибли в лагерях из-за своих «биологических уклонов». Но писатель, чтобы прожить, должен переводить и окончание романа откладывается.

Недавно немецкий издатель Дудинцева навестил его в Москве и был удивлен бедностью его квартиры.

— А мы думали, — сказал он, — что вы самый богатый человек в России.

Дело в том, что, несмотря на то, что СССР не поставил своей подписи под международной конвенцией об авторских правах, — многие западные издательства уплатили крупные авторские гонорары за издание романа Дудинцева в соответствующее советское учреждение — «Международную книгу», с которой у Дудинцева заключен договор — 70 % гонорара ему, 30 % «Международной книге». Но «Международная книга» договора не выполняет и не дает Дудинцеву ни копейки.

— Вот это и есть капиталистическая эксплуатация, — сказал немецкий издатель.

Но Дудинцев, как и остальные русские писатели, большой оптимист и считает, что на пороге — новая волна либерализации, «новый 1956 год». Он называет некоторые симптомы, появившиеся за последнее время. Так, Всеволод Кочетов, редактор сверхконсервативно-

го «Октября» и писатель, который в свое время больше других обрушивался на Дудинцева, недавно открыто предложил последнему, чтобы тот напечатал свой роман «Неизвестный солдат» в «Октябре», а не в «Новом мире». Жест Кочетова весьма симптоматичен — Кочетов известен как закоренелый соцреалист, которого недавно похвалили китайские критики, заявив, что он — почти единственный революционный писатель в настоящее время. И Кочетов ощутил потребность отмежеваться от китайских похвал. Он заявил, что идет в общем строю советских писателей, ничем из него не выделяется и протягивает Дудинцеву руку с предложением перемирия.

— Догматики еще не самые плохие, — сказал Дудинцев. — Они хоть честны по-своему. Хуже всех те, кто ни во что не верит и держится за старую лодку до последнего момента, чтобы ее бросить, когда новая лодка подойдет достаточно близко. Больше всего они боятся плыть самостоятельно. Вот, непонятно, как снова выросли сорняки, ведь казалось, что Октябрь до такой степени перепахал все, что земля должна была стать стерильной.

Вспоминая о крике, поднявшемся в 1956 году, писатель сказал, что самым значительным, самым большим для него событием тогда было то, что незнакомые люди в трамвае, в метро, не глядя ему в глаза, незаметно пожимали ему руку.

— Для этого стоит перетерпеть всё, — сказал он.

В отличие от Эренбурга и Леонова, Дудинцев очень положительно оценивает новое поколение советских литераторов и, как и многие другие, считает самым значительным явлением в поэзии Новеллу Матвееву, молодую, болезненную женщину, которая в полном смысле слова живет единственно для поэзии и поэзией. Писатель прочел мне стихотворение Матвеевой «Маяк», полное глубокой символики и написанное сочным и чистым русским языком, что в настоящее время в поэзии молодых, а в особенности у Евтушенко, встречается не

так уж часто. Дудинцев читал прекрасно и с вдохновением и чувствовалось, что последние строки он связывает непосредственно со своей личной судьбой:

Напрасно кто-то, с мыслью воровскою
Петляющий по берегу в ночи,
Хотел бы твой огонь, как рот рукою,
Зажать и крикнуть: «Хватит! Замолчи!»
Ты говоришь. Огнем. Настолько внятно,
Что в мокрой тьме, в прерывистой дали,
Увидят
И услышат
И превратно
Тебя не истолкуют корабли.*)

Прочсть «Доктора Живаго» Пастернака Дудинцеву не представилось возможности.

— Я хотел бы посетить Югославию, — сказал мне писатель на прощание.

Судя по развитию дел в СССР, роман «Не хлебом единым», без сомнения, будет реабилитирован и будет переиздан большим тиражом. Уже сегодня смешно звучат слова критика Озерова:

«Да, у нас появились произведения, с полным основанием осужденные советской общественностью. После «критиканских драм», которые представляли руководящие кадры советского государства в виде оголтелых бюрократов, увидел свет роман В. Дудинцева «Не хлебом единым», в котором вообще не нашлось места для показа творческой роли партии. Но зато активно действуют всемогущие чиновники... Конечно, такие произведения будут вскоре навсегда забыты, но не следует забывать, насколько опасна в нашей критике малейшая недооценка темы партии». (В. Озеров. «На путях социалистического реализма». Москва, 1958, страница 386)**).

*) Библиотека избранной лирики. Новелла Матвеева. Издат. «Молодая гвардия», 1964 г.

***) Обратный перевод. — Прим. переводчика.

ТАМАРА ЖИРМУНСКАЯ

Из плеяды молодых писателей Евтушенко и Рождественский были на Северном море, Римма Казакова — где-то на юге, Юнна Мориц и Новелла Матвеева — «на даче». В Москве были только Вознесенский и Жирмунская. Я протелефонировал поэтессе. Она сказала, что я могу зайти, когда хочу, так как она не выходит из дому: ожидает ребенка.

Тамара Жирмунская родилась в 1936 году и, как большинство молодых прозаиков и все молодые поэты, — исключая Окуджаву и Вознесенского (последний по образованию архитектор), — окончила литературный институт имени Горького в Москве, которым руководит один из крупнейших мастеров русской прозы нашего времени — Константин Паустовский. После окончания института она много путешествовала по стране как журналистка, часто выступала на вечерах и митингах поэзии. Она не столь талантлива, как Ахмадулина и Матвеева, пишет лирику, легко понятную наиболее широкому кругу читателей благодаря своей законченности, простоте и доступному лиризму. Главная ее тема — «ожидание счастья», а характерное название одного из сборников ее стихов — «Район моей любви» (1962).

В старинном, еще «царского времени», доме на улице Горького, в квартире, переполненной старинной мебелью, — вероятно именно так должны были выглядеть обиталища чеховской интеллигенции, — большая светловолосая женщина, которую вы никогда не приняли бы за поэтессу, показывала мне фотографии многих выступлений «молодых»: Евтушенко, Рождественский, она... и толпы народа. Она рассказала, что публика настолько жаждет чего-то нового, что достаточно, если десять совершенно неизвестных поэтов вывешат объявление о предстоящем вечере поэзии — и зал будет полон. Конечно, такая возможность «действует вдохновляюще» и это и есть тот подлинный «социаль-

ный заказ» — понятие очень точное и оправданное, но, к сожалению, скомпрометированное тем обстоятельством, что оно всегда идентифицировалось с заказом Идеологической комиссии при ЦК КПСС.

Вскоре пришел муж поэтессы, редактор одного фильмового журнала. Благодаря этому обстоятельству я узнал много интересного о положении в советской кинематографии.

ФИЛЬМЫ

Муж Жирмунской рассказал мне о настоящем кавардаке вокруг фильма «Застава Ильича» (так называется одна из площадей Москвы). Дело в том, что три года тому назад режиссер Марлен Хуциев снял по сценарию Геннадия Столикова фильм о конфликте самого молодого советского поколения с отцами, фильм, о котором все, кому удалось его просмотреть, говорят, что это — шедевр. Но партийная комиссия не выпустила его на экраны по той причине, что «конфликта отцов и детей у нас не существует». В особенности был возмущен Хрущев, главным образом завершительной — несущей главную идею фильма — сценой. Эта сцена выглядит так: главный герой фильма, современный советский юноша, попал в трудную ситуацию и ночью ему приснилось, что он находится в доте во время войны и разговаривает со своим отцом как раз в ту самую ночь перед атакой, во время которой его отец пал. Юноша спрашивает отца: «Отец, что мне делать?», а отец отвечает вопросом: «Сколько тебе лет, сын?» Сын: «Двадцать три». Отец: «Так зачем ты меня спрашиваешь, мне двадцать один».

Символика ясна — каждый отвечает сам за себя и никто не может думать за другого и что бы то ни было за него решать.

Хрущев по поводу этой сцены возмущенно произнес: «Даже животные не оставляют своих детей на про-

извол судьбы, а в фильме это делает советский человек!»

Но фильм вскоре выйдет с незначительными изменениями, а завершительная сцена останется, как была.

В этом году больше всего внимания привлекали фильмы из современной жизни — «Я шагаю по Москве» и «Человек идет за солнцем». В последнем особенно неожиданной была прекрасная электронная авангардистская музыка молодого киевского композитора. И, конечно, как раз за музыку фильм и критиковали.

Но наивысшую похвалу публики и *молодых* критиков заслужил новый кинофильм — «Гамлет» в постановке ленинградского режиссера Козинцева. Я думаю, что молодой артист Смоктуновский исполнил роль Гамлета не хуже Лоуренса Оливье. Смоктуновского считают типом «артиста-интеллектуала». Действительно, сильное, незабываемое впечатление Смоктуновский производит тем, что минимальными, едва заметными оттенками в голосе, в выражении лица вносит новую жизнь в драму Гамлета. Там, где другой артист играл бы «крещендо», Смоктуновский микроскопическими, «гомеопатическими» дозами выразительных средств создает потрясающую реальность трагедии. Большое впечатление производит музыка, написанная Шостаковичем. Роль Офелии сыграла дочь известного русского поэта и шансонье Вертинского, который в 1943 году по личному разрешению Сталина вернулся из эмиграции. Почти все студенты, с которыми я говорил, в восторге от «Гамлета». Светлана Саруханова — секретарь комсомольской организации Ленинградского университета, которая мне показывала Ленинград, — узнав, что я не видел фильма, пришла в ужас и настаивала на том, чтобы я непременно его посмотрел. Она видела его трижды и несколько раз повторила:

— Это фильм как раз о нас, да, да, — о молодежи!

Кстати, здесь в Ленинграде я хотел навестить знаменитого Черкасова — исполнителя ролей Ивана Грозного и Александра Невского из фильмов Эйзенштейна,

получившего в этом году Ленинскую премию. Но мне удалось поговорить с ним только по телефону. Он как раз уезжал на дачу, а я на следующий день улетал назад в Москву. Черкасов сейчас готовится к роли Каренина в новом кинофильме «Анна Каренина».

В московских кинематографах — их более восьмидесяти — показывают и западные фильмы. «Развод по-итальянски» — в двадцати девяти театрах. Затем «Тайны города Парижа», «Фанфан — ля ля» с Жераром Филиппом и многие другие. Труднее всего — из-за толчеи — попасть на американский ковбойский фильм с Джиулем Брюннером — «Семеро прославленных».

Также очень популярны короткометражные сатирические полудокументальные фильмы на злобу дня. Выходят они под общим названием «Фитиль» и нумеруются порядковыми номерами.

ТЕАТРЫ

Из 30 московских театров в июне работала только половина. В остальных гостили ансамбли из провинции.

Мои друзья, студенты Гитиса (Государственного института театрального искусства), с которыми я познакомился на Загребском фестивале студенческих театров в 1963 году (свет невелик!), театральные энтузиасты и фанатики, без сомнения были наиболее компетентными советниками по части того, что можно выбрать из сотни различных программ в театрах столицы.

К сожалению, все сошлись на том, что этот сезон был чрезвычайно скудным на интересные постановки и что есть только два-три спектакля, которые следует посмотреть. Во-первых, — и это во что бы то ни стало, — на любое представление театра «Современник». Кое-как мне удалось проникнуть в этот театр на представление «Сирано де Бержерак» Ростана. Сам по себе спектакль, несмотря на прекрасных актеров, не привлек бы такого внимания москвичей, если бы театр «Совре-

менник» не производил попыток модернизировать за-костенелую традицию русской сцены, которая ни на йоту не изменилась со времени «Прогулки в Россию» Крлежи,^{*)} и разрушить многолетний шаблон «реализма по Станиславскому». Именно поэтому спектакль «Сирано де Бержерак» вызывал бурное воодушевление публики. У актеров были разноцветные бороды и волосы (зеленые, фиолетовые, синие, красные, оранжевые); оформление сцены было едва заметно, едва обозначено и стилизовано, а действие происходило иногда в самом зале, среди зрителей.

Через день в Художественном театре (МХАТ) я смотрел пьесу плодовитого, но не очень даровитого писателя Д. Гранина «Иду на грозу», пьесу, которая пользовалась почти самым большим успехом в прошлом сезоне. Просто невероятно, что «художники» могут ставить столь глупые и скучные спектакли, а публика — смотреть и не свистеть. Это так называемая «производственная» драма, где основной конфликт между героями происходит в плане борьбы за строительство или изобретение или перевыполнение плана. Но в то время как Дудинцеву в его романе конфликт инженера Лопаткина с технической бюрократией служил средством для изображения более глубокой экзистенциональной трагедии героического одиночки в тотализированном обществе, — в произведениях Гранина и бесконечного числа ему подобных, под тонкой поверхностью натянутого и психологически необоснованного конфликта, скрывается одна пустота. И тщетны были старания мхатовцев заполнить эту пустоту, и вероятно именно для заполнения вакуума режиссер прибег ко всем возможным сценическим эффектам — зритель даже видит в полете самолет, в котором происходят некоторые сцены (вот, действительно, великое мастерство!), гре-

^{*)} Мирослав Крлежа, род. в 1893 г. в Загребе, хорватский писатель и критик, один из наиболее крупных литературных деятелей Югославии. — Прим. пер.

мят громы, блещут молнии — и все похоже на очень, очень плохой фильм.

В Московском театре сатиры я смотрел комедию в двух действиях Афанасия Салынского «Ложь для узкого круга», о которой советская печать много писала, а один критик даже назвал ее советским «Тартюфом». Одна женщина, — узнав, что человек, за которого она когда-то должна была выйти замуж и который погиб на фронте, недавно объявлен героем, — заявляет, что отец ее незаконнорожденной дочери именно этот герой. Поскольку эта женщина одновременно руководитель области — она надеется извлечь для себя политическую выгоду. В это время появляется какой-то тип, который утверждает, что покойный не был героем, а был предателем. Героиня пугается и забирает назад заявление об отцовстве героя. Катастрофа наступает в тот момент, когда одно из *положительных* действующих лиц — сотрудник государственного архива и *бывший* энкаведист (это подчеркнуто) разоблачает клеветника и спасает честь мертвого героя. Все это очень убого, натянуто, а сатира до такой степени мягкая, что не хлещет, а поглаживает.

Четвертый спектакль — драма И. Голосовского «Хочу верить», которую я смотрел в постановке Ленинградского театра им. Ленсовета, показался мне немного более интересным. Правда, фабула близка к криминально-психологической драме; дело идет о восстановлении репутации женщины, обвиненной в том, что она во время войны сотрудничала с оккупантами. Но главная мысль вещи, — то, что, несмотря на всевозможные факты и материальные доказательства, наиболее верным мерилom все же остаются ощущение и интуиция, — в какие-то моменты придавала драматическому конфликту силу и глубину.

Но самым интересным переживанием была без сомнения, драма С. Алешина «Палата» в московском Малом театре, драма, которая в 1963 году была поставлена на 44-х сценах страны 1320 раз и заняла четвертое

место в списке спектаклей, наиболее часто сыгранных в сезоне (согласно утверждению журнала «Театр» № 7 за 1964 год, стр. 23).

Действие драмы происходит в больнице, где в одной палате лежат три человека, которых, кроме врача, иногда навещают родственники. Действующих лиц очень мало, но и на них отражается тяжелое наследие «культы Сталина». Происходит конфликт между двумя больными — ответственным руководителем Прозоровым и писателем Новиковым. Разговор происходит без свидетелей и поэтому он полностью откровенен. На упрек писателя Новикова в «руководительской заносчивости» Прозоров открывает свое лицо:

Прозоров. А то, что говорил Сталин, вы, конечно, уже забыли?

Новиков. К сожалению, я помню это очень хорошо.

Прозоров. А вы, вероятно, из этих... Вы не были в заключении?

Новиков. А вы кто?

Прозоров. А я из тех, кто считает, что некоторых не следовало выпускать на свободу. В особенности таких, как вы, писателей. Возьматся с вами, советуются, убеждают, выслушивают ваше мнение. А вы распустили языки. Препираетесь, рассуждаете, лезете со своими советами. Показали бы вам до 1953 года. Вас бы... (показывает рукой: «зажали бы»).

Облик сталинца в этой драме изображен немилосердной кистью. Прозоров отвратителен, он доходит до того, что цинично бросает Новикову, готовящемуся к тяжелой сердечной операции:

— А вы отсюда не выйдете. Умрете под ножом. Я это слышал в перевязочной. Сдохнете!

В драме ничего не сказано об исходе операции Новикова, но в ней показано нечто другое: выздоровевший Прозоров упаковывает свои чемоданы и отправляется домой. Успех драмы показывает, что театр может существовать только в том случае, если он активно участвует в решении животрепещущих проблем общества и личности.

Но театры переполнены даже тогда, когда идут «производственные» спектакли, скучные и стереотипные. Этот факт очень трудно объяснить. Ни в Югославии, ни в Западной Европе такие представления не собрали бы публику даже на второе представление. Они, я думаю, другого не заслуживают. А вот советские театры переполнены. Как будто у советской публики существует какое-то непреодолимое стремление к жизни, к переменам, к чему-то необычному — и отсюда стремление в театр вне зависимости от качества репертуара. Ничем другим невозможно объяснить эти вечно переполненные залы (следует учесть и тот факт, что большинство театров дает два представления ежедневно!).

И, несмотря на это, советские театры сегодня — за редкими исключениями — музеи. Как раз популярность «Современника», смело вводящего новое (конечно, это выражение действительно здесь только в отношении к советской сцене), пытающегося сценическим путем реабилитировать Мейерхольда и Таирова, показывает, что советская сцена неминуемо должна пережить театральную революцию.

Московские студенты несколько лет тому назад пытались ставить Ионеско, а сегодня добиваются больших успехов, ставя Брехта, который для советского театра «чересчур новатор». Верю, что через несколько лет на советскую сцену бурно ворвутся французские авангардисты. Именно там они необходимы более, чем где-либо, — они разрушат все сценические музеи.

Но сопротивление «ответственных» театральным факторам по отношению к любым переменам видно невооруженным глазом, хотя бы в сознательном замалчивании самого крупного русского драматурга Евгения Шварца. Несмотря на то, что Шварца официально в настоящее время не подвергают анафеме, несмотря на то, что постановки его сатирических драм пользуются громадным успехом как в Советском Союзе, так и за границей (драма Шварца «Дракон» в прошлом сезоне была с воодушевлением принята в Нью-Йорке), управ-

ления театров неохотно ставят его произведения и мне ни в Москве, ни в Ленинграде не удалось увидеть ни одной его пьесы.

Евгений Иванович Шварц (1896-1958) в течение многих лет был известен на своей родине как автор прекрасных детских спектаклей: «Красная шапочка» (1937), «Снежная королева» (1938), «Золушка» (1947) и других. Между тем общественность только задним числом узнала, что Шварц был гениальным сатириком и что он создал несколько самых значительных пьес в русской литературе этого столетия, причем во время кромешного мрака «культа».

Перед самым началом второй мировой войны, в то время, когда, с одной стороны, в реальной жизни происходили страшные чистки, а с другой — в искусстве царила нечеловеческая «лакировка», великий художник в наиболее ценной из всех своих драм — «Тень» (1940) весело улыбнулся жизни и высмеял все темное и страшное в своей стране, полный бесконечной веры в то, что правда в конце концов победит.

Конечно, драма много лет лежала спрятанной в письменном столе, а на сценах русских театров разыгрывали произведения «официального сатирика» Бориса Ромашова («С каждым может случиться», 1941 г., и другие пьесы) — бесконфликтного «лакировщика».

Действие драмы Шварца просто и базируется на известной сказке Андерсена. В одно экзотическое королевство прибывает иностранный *Ученый*, влюбляется в принцессу — наследницу престола, теряет свою *Тень*, которая материализуется, отнимает у своего бывшего хозяина принцессу и становится властителем. *Тень*, в которой сконцентрировано все то темное и низкое, что существует в человеческой природе, пытается с помощью *Придворных* сломить Ученого и принудить его служить ей. Но *Ученый* предпочитает смерть, а поскольку в тот момент, когда у него отрубают голову, у его *Тени* голова тоже спадает с плеч — *Придворные*, чтобы оживить *Тень*, воскрешают Ученого при помощи «живой

воды». Главная идея произведения: бюрократия срубила голову Революции, но для того, чтобы самой остаться в живых, она вынуждена воскресить Революцию.

Однако ценность драмы, конечно, не в позаимствованной фабуле. Ее оригинальность и неповторимое художественное очарование в странной смеси нежной поэзии и лирики с глубокой сатирой. В сложном сплетении конфликта, в блестящих остроумных диалогах и интересной форме гротеска, во многом схожей с творчеством Ионеско и других французских новаторов, вскрываются все типы периода «культы личности»: министры тайных дел, тайные полицейские, шпики, доносчики, интриганы и карьеристы, продажные газетчики и художники и вообще все те, которые, как говорит Шварц, «гонорарно работали как людоеды-оценщики на городских складах живых людей».

Интересно, что Шварц отождествляет чиновников — то есть касту бюрократов — с капиталистическим классом. Единственно, чего они желают, как говорит Тень, — чтобы никогда не было «Никаких перемен... Никаких планов. Никаких фантазий». Чиновники непобедимы потому, что для них все безразлично: и жизнь, и смерть, и великие открытия. Параллели с действительно происходящими событиями проходят одна за другой через всю драму. Об отце принцессы, бывшем короле, одно действующее лицо говорит:

«Покойный был умный человек, но такая уж должность королевская, что характер от нее портится. В самом начале его царствования первый министр, которому государь верил больше, чем родному отцу, отравил любимую сестру короля. Король казнил первого министра. Второй первый министр не был отравителем, но он так лгал королю, что тот перестал верить всем, даже самому себе. Третий первый министр не был лжецом, но он был ужасно хитер. Он плел, и плел, и плел тончайшие паутины вокруг самых простых дел. Король во время его последнего доклада хотел сказать: «утверждаю» и вдруг зажужжал тоненько, как муха, попавшая в паутину. И министр слетел по требованию королевского лейб-медика. Четвертый

первый министр не был хитер. Он был прям и прост. Он украл у короля золотую табакерку и бежал. И государь махнул рукой на дела управления. Первые министры с тех пор стали сами сменять друг друга. А государь занялся театром, но говорят, что это еще хуже, чем управлять государством».

Шварц показывает не только бюрократию, но и те слои общества, которые делают возможным ее существование: дворян, журналистов, художников и т. д. Это, как говорит одно действующее лицо драмы, — «круг настоящих людей»:

«О, это артисты, писатели, придворные. Бывает у нас даже один министр. Мы элегантны, лишены предрассудков и понимаем все».

Но, несмотря на все, силы зла побеждены. Потому что, как говорит Ученый:

«С одной стороны — живая жизнь, а с другой — тень. Все мои знания говорят, что тень может победить только на время. Ведь мир-то держится на нас, на людях, которые работают!».

Но «чтобы победить, надо идти и на смерть», — говорит Ученый.

«Тень» — большое и важное сценическое произведение. Современное и совершенное драматическое действие, столь редкое в нынешней русской драматургической литературе, типично театральным языком драмы, бесчисленные сценические эффекты, живущие только на сцене и которые невозможно перенести на бумагу, делают сатирическую драму Евгения Шварца шедевром современной русской литературы и с ней невозможно сравнить даже произведения лучших советских драматургов: Погодина, Вишневского, Вс. Иванова и Леонова.

В одном месте в драме Ученый говорит:

«Ваша страна — увы — похожа на все страны в мире. Богатство и бедность, знатность и рабство, смерть и несчастье, разум и глупость, святость, преступление, совесть, бесстыдство — все перемешано так тесно, что просто ужасаешься. Очень трудно будет все это распутать, разобрать и привести в порядок так, чтобы не повредить ничему живому».

Конечно, в те времена, когда создавалась «Тень», одной лишь этой «еретической» мысли было бы достаточно, чтобы сделать постановку драмы вообще невозможной. Так это и было в течение некоторого времени. Но что бы ни предпринимали темные силы и различные Тени, жизнь все-таки победит. Не лишен, вероятно, некоторой ценности опыт первого министра из драмы, который говорит:

«За долгие годы моей службы я открыл один не особенно приятный закон. Как раз тогда, когда мы полностью побеждаем, жизнь вдруг поднимает голову».

И напрасны усилия его сотрудника, который отвечает:

«Подымает голову?.. Вы вызвали королевского палача?!».

О Шварце в настоящее время много пишут в советской печати. Так, в 4, 5, 6, 7 и 8 номерах журнала «Знамя» за текущий год напечатаны интересные воспоминания известного советского драматурга Александра Штейна (род. в 1906 году) под заголовком: «Повесть о том, как создаются сюжеты». Штейн описывает свои встречи с Борисом Лавреневым, эмигрантским поэтом Вертинским, драматургом Шварцем и другими. Штейн пишет:

«Большинство пьес Евгения Шварца увидели сцену и опубликованы после его смерти. Да и сам он как художник по-настоящему признан и оценен громогласно в статьях и книгах тоже после смерти» («Знамя № 5 за 1964 г., стр. 141).

«Тень» опубликована только в 1956 году, а о другом значительном произведении Шварца — драме «Голый король», написанной в 1934 году, Штейн пишет:

«Голого короля» поставили в 1960 году в театре «Современник», рожденном энтузиазмом воспитанников студии МХАТ и в еще большей степени — духом нового времени».

Во время войны Евгений Шварц с женой, несмотря на тяжелую болезнь сердца, отказывается эвакуироваться из Ленинграда и выдерживает все невзгоды 900-дневной осады.

«В сорок шестом году я встретил Евгения Шварца — пишет Штейн, — подавленного, растерянного...

Вернулся с собрания, где исключили из Союза писателей Ахматову и Зощенко. Зощенко был назван подонком, Ахматова — блудницей».

В воспоминаниях Штейна выпукло изображен облик талантливого драматурга и необыкновенно честного и гуманного человека Шварца, в течение долгих лет незаслуженно игнорировавшегося и замалчивавшегося.

Значение Шварца для русской драматургии будущего — огромно.

ЛЕОНИД ЛЕОНОВ

Главную улицу Москвы — улицу Горького — студенты называют «московским Бродвеем». Это широкая улица с подземными переходами; одним концом она выходит прямо на Красную площадь перед Кремлем, другой ее конец переходит в Ленинградское шоссе, которое в свою очередь переходит в знаменитое Волоколамское шоссе, на котором в 1941 году велись славные битвы, в те дни, когда на эту дорогу, ведущую прямо к Кремлю, ворвались танки Гудериана.

Почти на каждом доме по улице Горького висит мемориальная доска: здесь тогда-то и тогда-то жил и работал Демьян Бедный, или Фадеев, или Островский — «отец» Павла Корчагина. Или — здесь в такой-то день выступал Ленин в 1918 году, или в 1919 г., или 1922-ом. В самом начале улицы, вблизи Красной площади, живет Илья Эренбург, на другом конце улицы — Леонид Леонов. Эти два наиболее известных ветерана — свидетели того московского периода, когда Есенин бродил по московским кабакам, Ленин держал речи, а Дзержинский арестовывал по Москве «контру», — судя по всему, уже выбрали дома, на которых будут висеть мемориальные доски в память о них.

Странное это чувство — видеть собственными глазами людей, которые были историей уже тогда, когда тебя еще не было на свете. Человек поневоле сомне-

вается в том, что авторы книг, которые он читал еще сидя на школьной скамье, как произведения «старых» классиков, все еще реально существуют — едят, пьют, курят, читают газеты.

Это как если бы памятник, стоящий на площади, вдруг сошел бы со своего пьедестала и начал самый обычный, будничный разговор.

Это ощущение какой-то нереальности было у меня, когда я подходил к дому № 54 по улице Горького, в котором на седьмом этаже живет автор «Вора», «Барсуков» и «Русского леса».

Высокий седой мужчина в толстых очках и с нервным взглядом открыл мне двери и повел в свой рабочий кабинет. И все-таки после двухчасового разговора я должен был признаться самому себе, что глубоко разочарован. Леонов — неинтересный собеседник, и это только подтверждает факт, что великие писатели в жизни часто скучные и стереотипные люди. И наоборот.

Леонов перерабатывает почти все свои старые произведения. Новая версия «Вора» уже вызвала полемику. Писатель рассказал мне, что Сталин лично красным карандашом вдоль и поперек исчеркал первую версию его романа.

— Только теперь я могу писать свободно и поэтому переделываю старые пьесы, — сказал он.

Уже готова новая версия пьесы «Нашествие» (за первую версию Леонов получил в 1943 году Сталинскую премию. — Прим. пер.), в которой главный герой — в первой версии юноша, осужденный на каторгу за убийство любимой женщины, — сейчас заменен бывшим политическим заключенным. Переделана и известная драма «Золотая карета».

— Я болею гоголевской болезнью, — сказал писатель, — ничто мною написанное не может меня удовлетворить.

Леонов говорит, что работает «ужасно много, даже на Первое мая». «Процесс» Кафки он не читал и вообще

к современному искусству относится очень отрицательно.

— Как бы это выглядело, если бы, разговаривая с вами, я надел очки на рот, а не на переносицу? — высмеивал писатель современную живопись.

Когда я начал защищать современное искусство, пытаюсь объяснить ему, что Пикассо такой же реалист, как и Рембрандт, но что предмет его реализма другой — внутренний мир, подлинная реальность отчужденного человека, — Леонов настолько ожесточился, что воскликнул:

— Против этого нужно бороться даже мечом!

Гневно обрушился он на синкопированную джазовую версию «Аве Мария» (эта композиция очевидно не дает ему покоя, я уже читал в нашей печати его выпад против нее), а когда я сказал, что в отношении стиля он является учеником «русского Кафки» — Алексея Ремизова, он начал утверждать, что никогда не прочел ни одной страницы из Ремизова. Это поистине было бы невероятно и, говоря откровенно, я ему не верю, так как период наибольшей популярности Ремизова в России относится к тому времени, когда Леонов начал писать. В журнале «Русское искусство» (№ 1 за 1923 год) есть статья Евгения Замятина «Новая русская проза», в которой автор пишет следующее:

«Леонов — городит: он — Ремизович несомненный; отсюда — язык у него румяный, упругий, очень русский, но без всякого арго».

О Югославии писатель говорит с воодушевлением.

— Всегда, когда я прохожу возле югославского посольства, я говорю себе — здесь живет брат мой.

И еще:

— В Югославии есть литературная интеллигенция.

Леонов не находит решения для животрепещущих проблем современного человечества и не видит выхода из них. Больше всего его беспокоит резкое увеличение количества людей на земле.

— Куда это ведет? — задает он себе вопрос и говорит, что даже современные войны не намного уменьшили количество людей.

Что касается положения в Советском Союзе, писатель считает, что главной и единственной важной проблемой является нахождение и устранение причин, сделавших возможной сталинщину. К сожалению, власть еще до сих пор всеми возможными средствами замедляет либерализацию.

— О советских лагерях, — говорит Леонов, — будут писать еще восемьдесят лет.

ЛАГЕРНЫЕ ТЕМЫ

Леонов прав. Тема концлагеря в русской литературе находится только в зачатке. Год тому назад Хрущев заявил, что редакции литературных журналов получили около десяти тысяч романов, рассказов и воспоминаний на концлагерные темы, что, впрочем, и не так уж много, потому что считается, что в течение трех десятков лет в лагерях постоянно находилось от 8 до 12 миллионов человек.

Несмотря на то, что из огромного количества этих произведений опубликована совсем незначительная часть («это очень опасная тема и трудный материал» — сказал Хрущев), советские журналы все больше и больше становятся похожими на анналы о злодеяниях инквизиции Филиппа II. Большинство реабилитированных, которые имели счастье дожить до 1956-1957 годов и выйти из лагеря, не желают молчать. Так что у советской власти сегодня имеются только две возможности: снова загнать в лагерь всех реабилитированных (чего Хрущев не хочет и уже не может сделать) или дать им свободно высказываться. Это последнее сейчас как раз и происходит и тормоза действуют все слабее. После повести А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича» наибольший интерес в этом году вызвали

воспоминания генерала армии А. В. Горбатова, напечатанные в 3, 4 и 5 номерах «Нового мира».

Самые потрясающие места в его воспоминаниях — это те, в которых Горбатов описывает советские тюрьмы и лагеря, в которые он попал перед второй мировой войной по ложному доносу. Особенно занятно, что писатель называет и настоящие имена своих мучителей, которые до сегодняшнего дня продолжают существовать безнаказанно:

«Но вскоре меня стали опять вызывать на допросы, и их было тоже пять. Во время одного из них я случайно узнал, что фамилия моего изверга-следователя Столбунский. Не знаю, где он сейчас. Если жив, то я хотел бы, чтобы он мог прочитать эти строки и почувствовать мое презрение к нему не только теперь, но и тогда, когда я был в его руках. Думаю, впрочем, что он это хорошо знал. Кроме следователя, в допросах принимали участие два дюжих палача. И сейчас в моих ушах, когда меня, обессиленного и окровавленного, уносили, звучит зловеще шипящий голос Столбунского: «Подпишешь, подпишешь». Выдержал я эту муку и во время второго круга допросов. Но когда началась третья серия допросов, как захотелось мне скорее умереть!». («Новый мир» № 4 за 1964 год, стр. 120).

Горбатов дает интересные картины лагерного режима и отношения власти к уголовникам и к «врагам народа»:

«Охрана во главе с начальником ладила с уркаганами, поощряла их склонность к насилию и пользовалась ими для издевательств над «врагами народа» (стр. 125-126).

«На более тяжелую работу посылали, как правило, «врагов народа», на более легкую — «друзей», то есть уркаганов» (стр. 127).

А вот как выглядела «работа»:

«...читателям будет трудно представить себе картину, как по склонам гор, растянувшись на четыре километра, вереницей бредут исхудалые люди, не люди, а тени и, вытянув, как журавли в перелете, шеи вперед, напрягая последние силы, тянут древесину. Тяжело тащить груз с горы, еще тяжелее по ровной

местности, а при самом незначительном подъеме он становится просто непосильным. Люди спотыкаются, падают, встают и снова падают, но груз трогается с места только тогда, когда приходит открытого произвола». («Новый мир» № 4 за 1964 год, стр. 135).

По поводу женских лагерей Горбатов пишет:

«...Ведь это были наши матери, жены, сестры, дочери, чаще всего осужденные как члены семьи «врагов народа». Если мы не знали за собой никакой вины, то нас хоть в чем-то обвиняли, а эти несчастные были просто жертвами жестокого и открытого произвола». («Новый мир» № 4 за 1964 год, стр. 135).

Эти слова правды о действиях господства преступной сталинщины и трагедии русского и других советских народов ставят проблему, которую до сего времени обходили молчанием. Это вопрос людей, которые активно боролись против сталинщины еще задолго до 1956 года и говорили правду о положении в Советском Союзе. Этим людям до сих пор рассматривают как преступников и «предателей», хотя все то, что они когда-то писали об СССР, сегодня можно было бы напечатать в советских журналах. Так, например, известен случай Ивана Солоневича, которому удалось в 1934 году бежать на Запад из одного северного концлагеря. Он затем написал в свое время очень популярную книгу «Россия в концлагере» (сербско-хорватский перевод в 1939 году), по содержанию весьма схожую с воспоминаниями Горбатова и с другими советскими произведениями о лагерях. Между тем Иван Солоневич все еще считается «предателем трудового народа, наймитом капитализма» и т. д.

Таким образом, сегодня в СССР официально существует двойственное отношение и к сталинщине и к борцам против сталинщины. С одной стороны, сталинщина осуждается и объявляется антинародным преступным явлением, с другой стороны, осуждаются антисталинцы. Рано или поздно это ненормальное положение должно быть устранено, а поскольку антисталинские силы находятся сегодня в сильном наступле-

нии, то, судя по всему, этот вопрос вскоре будет внесен в повестку дня.

Многое еще требует разъяснения, и реабилитация еще только *началась*. Один аспирант МГУ сказал мне:

— Они реабилитировали только своих, а тысячи честных людей, беспартийных — что с ними?

Многие люди, с которыми мне приходилось встречаться, с сарказмом рассказывали о методе проведения реабилитации. Семья получает формуляр, в который внесены имя, фамилия и официальное сообщение о реабилитации — и это все. Никто не знает, где, когда, каким образом погиб «реабилитированный». И узнать это — нет возможности. А поскольку в СССР очень мало семей, в которых как минимум один член не нуждался бы в «реабилитации» — недовольство половинчатой ликвидацией сталинщины — всеобщее. Но все глубоко уверены, что борьба со сталинщиной только началась и настроены в отношении исхода этой борьбы оптимистически.

.
.
.
.
. *)

*) Здесь мы, по просьбе М. Михайлова, выпускаем отрывок в 31 строку в связи с тем, что на нем базировалось решение окружного суда в Белграде (№ Кр. 16/65 от 11 февраля 1965 г.) о конфискации номера журнала «Дело» за февраль 1965 г., а также приговор окружного суда в Задаре (№ К. 21/65 от 30 апреля 1965 г.), согласно которому М. Михайлов был осужден на пятимесячное заключение условно сроком на два года (этот срок впоследствии добавлен к приговору окружного суда в Задаре — № К. 27/66 от 23 сентября 1966 г., — когда М. Михайлов был осужден за публикацию в западной печати трех статей: «Чего хотим и почему молчим», «Джилас и сегодняшняя Югославия» и «Элаборат о возможности создания открыто оппозиционного органа в рамках позитивных законных норм СФРЮ»).

В выпущенном отрывке говорится о том, что в советской печати все реже упоминаются нацистские концентрационные

Те же причины обусловили массовый переход на немецкую сторону донских казаков. Появление антисоветской армии генерала Власова, так называемой «Русской освободительной армии», РОА — единственный случай в истории русского народа.

Журнал «Юность» в этом году опубликовал роман Евгения Пиляра «Человек остается человеком», в котором начинает подниматься вопрос о чрезвычайно тяжелой проблеме отношения к казакам из РОА. Дело в том, что Пиляр описывает действительно героическое поведение казаков, взятых в плен Красной армией, во время избиений их на допросах. Автор находится в недоумении и оставляет вопрос открытым. Да, пишет он, я знаю, что это предатели, но чем объяснить предательство этих людей, простых русских хлеборобов, идущих так бесстрашно на смерть?

В связи с этой проблемой стоит и проблема того партизанского движения на оккупированной территории, которое вело одновременную борьбу и против немцев и против Красной армии и представляло собой так называемую «Третью силу». Не подлежит сомнению, что в самом ближайшем времени весь исторический комплекс второй мировой войны должен будет подвергнуться полной ревизии. В отношении деятельности Сталина в армии эта ревизия уже началась.

лагеря и избегается их сравнение с советскими, т. к. советские лагеря появились до немецких (лагерь «Жолмогоры» в 1921 году). Далее рассказывается о произведении «реабилитированного» в СССР писателя И. Шмелева «Солнце мертвых», в котором говорится о расстреле в Крыму в 1920-1921 годах без суда и следствия 120.000 мужчин и женщин и о чекистке Вере Гребеняковой («Доре»), собственноручно замучившей и убившей 700 заключенных. Отрывок заканчивается указанием на то, что геноцидом (народоубийством) советская власть занималась до Гитлера.

В пятом номере журнала «Знамя» за 1964 год напечатано окончание романа Константина Симонова «Солдатами не рождаются», который там печатался с 8 до 11 номера в 1963 году, и с 1 по 5 номер 1964 года. Роман разрабатывает тему Второй мировой войны, о нем в советской печати существует много положительных отзывов. Особенно интересно то, что Симонов описывает Сталина, его внутренний мир, мысли, чувства. В то время как в литературных произведениях до 1956 года часто описывался «отец народа» и, конечно, в наилучшем свете, это *первое* советское произведение, в котором делается попытка показать его реалистически. Герой романа, генерал Серпилин, встречается в Кремле со Сталиным и в какой-то момент его охватывает желание спросить Сталина о подлинном смысле и цели «чистки» в армии, жертвой которой был и он сам.

«А Сталин повернулся и шел теперь обратно, лицом к нему, и Серпилин на мгновение вспомнил это лицо тогда, в мае тридцать седьмого, на торжественном выпуске академий. Лицо было такое же спокойное, как сейчас, а через неделю после этого арестовали Тухачевского, Якира, застрелился Гамарник, и началось, и пошло!

Тогда, вначале, после первого закрытого военного процесса, он с ужасом поверил, что заговор был. Не мог не поверить. Что же другое, кроме существовавшего в действительности страшного авантюристического, в последний момент разоблаченного, заговора могло поставить к стенке этих людей, еще месяц назад считавшихся цветом армии? И лишь потом, когда собственная судьба столкнула его с нелепыми и чудовищными обвинениями, предъявленными людям, которым и не снилось то, в чем их обвиняли, — лишь тогда, даже не в тюрьме, а уже в лагерях, его начала тяготить мысль: а может, и тогда, с теми, вначале, было то же самое, что с ним и с другими потом?

Он смотрел на приближающегося Сталина и думал: «Сейчас скажу: «Товарищ Сталин, выясните все, поручите! Все с самого начала, именно с самого начала!».

Сталин подошел, сел, ковыряя над пепельницей в трубке, подался вперед, и Серпилин, в порыве чувств уже готовый сказать ему все, что собирался, вдруг близко, вплотную увидел безжалостно-спокойные глаза Сталина, занятые какой-то своей, может быть, вызванной воспоминанием о Ежове, далекой и жестокой мыслью. Увидел эти глаза и вдруг понял то, о чем всегда боялся думать: жаловаться некому!». («Знамя» № 5 за 1964 год, стр. 96).

Несмотря на это, Симонов пишет, что Серпилин остался верен Сталину, и причину странного явления, что против диктатора не было организовано ни одного серьезного заговора, объясняет так:

«Да Серпилин закрыл бы его собой сейчас не только по долгу солдата, но и из убеждения, что его смерть была бы несчастьем для воевавшей страны и имела бы неисчислимые последствия».

Он с ненавистью подумал о немцах, о том, как бы их обрадовала эта смерть...». («Знамя» № 5 за 1964 г., стр. 102).

Писатель характеризует «мудрого вождя» как человека, который боится людей, мелкого, суетного, мстительного, подлого, неуравновешенного.

«Он (Сталин. — М. М.) не только теперь, но и уже тогда (во время революции. — М. М.) не любил ездить в войска, в глубине души боясь людей, не отделенных от него достаточной дистанцией... При всем своем нечеловеческом презрении к людям он все еще не утратил такой человеческой черты, как способность обижаться на них». («Знамя» № 5 за 1964 г., стр. 99).

Симонов рассказывает, как Сталин однажды назначил командира одной из дивизий на должность командующего армией, но в момент, когда тот должен был приступить к исполнению новых обязанностей, Сталин передумал и незадачливый командующий отправился в тюрьму, а потом на расстрел. Довоенные чистки до такой степени ослабили страну и армию, что Симонов возлагает вину за поражения в первый период войны непосредственно на Сталина. Вот, например, какой разговор происходит между Серпилиным и его другом

об учебном сборе двухсот двадцати пяти командиров полков в 1941 году:

«...А сколько, думаешь, из двухсот двадцати пяти нормальные училища окончили? Двадцать пять! А двести — только курсы младших лейтенантов да полковые школы...

— ...А у немцев? — сказал Иван Алексеевич, — голос его дрогнул, когда он увидел эти небывалые на лице Серпилина слезы, — у немцев за полтора года из всех командиров полков, и захваченных в плен и убитых, на ком документы взяли, не встречал случая, чтобы командир полка еще в первую мировую войну не имел боевого опыта в офицерском звании» (стр. 110).

Дальше в романе следует размышления Серпилина:

«...Война на носу, а из двухсот двадцати пяти командиров полков ни одного окончившего академию!».

Правду об ужасах насильственной коллективизации, которую провели, пожертвовав восемью миллионами русских земледельцев, начинают широко распространять. После появления второй части романа Шолохова «Поднятая целина», опубликованной только в 1956-1960 годах в журнале «Звезда», в течение 1962 года напечатан роман Михаила Жестева «Татьяна Тарханова», который изображает этот процесс еще более открыто.

В романе описывается, как из села Пухляки в течение одной ночи было выселено большое количество крестьян, признанных за «кулаков». Среди выселенных находится герой романа Игнат Тарханов, который никогда не пользовался наемной рабочей силой, не совершал никаких преступлений и который, в конце концов, получил в наследство небольшое хозяйство, которое он с любовью и старанием обрабатывал вместе с женой: дом, конь, корова и клочок земли. Насилие было настолько чудовищно, что автор романа описывает сомнения, закравшиеся даже в души коммунистов, совершавших выселение и конвоировавших своих соседей. Вот что думает один из них:

«Может быть, достаточно было бы для острастки выслать пяток-другой богатеев?» («Звезда» № 1 за 1962 г., стр. 15).

В Москве я слышал, что среди колхозников популярна пословица: «Ленин дал нам землю, а Сталин отобрал».

На известной встрече «руководителей партии и правительства с представителями творческой интеллигенции» 8 марта 1963 года Хрущев прочел письмо Михаила Шолохова, направленное Сталину (16 апреля 1933 г.), в котором великий писатель становился на защиту земледельцев своей области:

«Если все, описанное мною, заслуживает внимание ЦК, — писал Шолохов Сталину, — пошлите в Вешенский район доподлинных коммунистов, у которых хватило бы смелости, невзирая на лица, разоблачать всех, по чьей вине смертельно подорвано колхозное хозяйство района, которые по-настоящему бы расследовали и открыли не только всех тех, кто применял к колхозникам омерзительные «методы» пыток, избиений и надругательств, но и тех, кто вдохновлял на это» («Правда» от 10 марта 1963 года, а также книга Н. С. Хрущева «Высокое призвание литературы и искусства», Москва, 1963, стр. 191).

Сталин, конечно, не реагировал, потому что он сам был главным вдохновителем «методов», хотя и лицемерно «взял под защиту крестьян в своей известной статье «Головокружение от успехов».

КОНЦЛАГЕРНЫЙ ФОЛЬКЛОР

Однажды вечером я находился в студенческом доме МГУ, в веселой студенческой компании. Пели песни Булата Окуджавы, пили и играли на гитаре. Между тем как раз в этот вечер я пережил момент, который никогда в жизни не забуду. В компанию пришел молодой сибиряк, прекрасный гитарист и певец, которого, судя

по всему, именно за это любили жители громадного университетского здания. Его не надо было долго упрашивать и он запел под гитару непоставленным, но прекрасным баритоном, а другие ему подпевали. Но главное, что меня потрясло, были сами песни. Я себе никогда не представлял, что нечто подобное существует в СССР. Это были всех видов песни заключенных: и веселые, и полные отчаяния, и циничные. Но все они были потрясающими. Ими говорила Россия, та, которую мы знаем по произведениям Толстого и Достоевского, это было подлинное почвенное, глубинное народное творчество, не стилизованное, — не то, которое транслируется советскими радиостанциями, — а сырое, иногда наивное, но всегда глубокое, очень мелодичное и трагическое.

Эти песни родились в глубине тайги, где-то возле костра, около которого грелись бесчисленные лагерники, измученные тяжелым трудовым днем, скудной пищей и побоями.

Один факт внес известный оттенок больной иронии и цинизма в эти песни. Нельзя забывать, что этих же самых лагерников ежедневно принуждали слушать о том, что СССР — это первая страна социализма, воистину самое справедливое отечество всех трудящихся и — что главное — самая свободная в мире страна. В то время, когда в народе создавался этот современный фольклор, советские радиостанции ежедневно бесконечное число раз передавали песню «Широка страна моя родная», в которой есть следующие строки:

От Москвы до самых до окраин,
С южных гор до северных морей
Человек проходит, как хозяин,
Необъятной родины своей.

Лагерь ответил Сталину своей песней:

Товарищ Сталин, вы большой ученый,
Языкознания познавший толк,
А я простой советский заключенный
И мой товарищ — серый брянский волк.

За что сижу, по совести, не знаю,
Но прокуроры, видимо, правы.
И вот сижу я в Туруханском крае,
Где при царе бывали в ссылке вы.

И вот сижу я в Туруханском крае,
Где конвоиры строги и грубы.
Я это все, конечно, понимаю,
Как обостренье классовой борьбы.

В чужих грехах мы быстро сознавались.
Этапом шли навстречу злой судьбе.
Мы так вам верили, родной товарищ Сталин,
Как может быть не верили себе.

То дождь, то снег, то мошкара над нами,
А мы в тайге с утра и до утра.
Вы здесь из «Искры» раздували пламя,
Спасибо вам, я греюсь у костра.

Я вижу вас, как вы в партийной кепке
И в кителе идете на парад.
Мы рубим лес, а сталинские щепки,
Как прежде, в стороны летят.

Вся грудь у вас в наградах, вся в медалях,
И волос от заботы поседел.
Вы по шесть раз из ссылки убегали,
А я, дурак, — ни разу не сумел.

Вчера мы схоронили двух марксистов.
Мы их не покрывали кумачом.

Один из них был правым уклонистом,
Другой, как оказалось, не при чем.

И перед тем, как навсегда скончаться,
Вам завещал кисет и все слова;
Просил он вас, во всем тут разобраться,
И тихо вскрикнул: — Сталин голова!

Живите сотни лет, товарищ Сталин,
И хоть в тайге придется сдохнуть мне,
Росло бы только производство стали
На душу населения в стране.

Потрясает песня о Магадане, центре Колымского
края, который был переполнен концлагерями.*)

Мне вспомнился Ванина порт
И вид пароходов угрюмый,
Когда нас грузили на борт
В зловонные, черные трюмы.

Над морем спустился туман,
Ревела стихия морская.
Нам путь предстоял в Магадан,
Столицу Колымского края.

Не песни, а жалобный стон
Из каждой груди вырывался.
«Прощай, материк, навсегда», —
Ревел пароход, надрывался.

От качки страдали зека,
Обнявшись, как родные братья,

*) М. Михайлов приводит два четверостишия из этой песни. Предполагая, что не все читатели эту песню знают, приводим ее текст полностью. — Прим. пер.)

Невольно у них с языка,
Срывались глухие проклятья.

Проклятье тебе, Колыма,
Что названа райской планетой,
Сойдешь поневоле с ума,
Возврата оттуда уж нету.

Там смерть подружилась с цынгой,
Набиты битком лазареты,
И, может быть, этой весной
Меня уж не будет на свете.

Не плачьте ни мать, ни жена,
Ни вы, мои милые дети,
Знать, горькую чашу до дна
Досталось испить мне на свете.

Умру, похоронят меня,
И гроба не станут мне делать,
Снегами засыпет пурга,
Покроет, как саваном белым.

В метелях бушует зима
И тают свечой мои силы,
Будь проклята ты, Колыма,
Свободе и счастью могила!

Отчаяние выливалось в необычайно трагичные мелодии. Одну из песен сибиряк назвал: «Песня из мест не столь отдаленных»:

Проснешься рано, а город еще спит,
Не спит тюрьма, она совсем не спала,
Лишь только сердце глухо заболит,
Как будто к сердцу прикоснулось пламя.

И если ты в строю заговоришь,
Тебя из строя выдернут клещами,
А уж назавтра верно жди приказ:
В холодный карцер выкинут с вещами.

Ты скажешь слово — на тебя кричат,
И как ты к брани быстро привыкаешь,
То по привычке, руки взяв назад,
Свой хмурый взгляд на землю опускаешь.

Бесконечно число лагерных песен. Одна, отчаянная, начинается так:

Ах, приморили гады, приморили,
И загубили молодость мою...

Но есть и много шуточных. Так, популярна песня «Анна Каренина», в которой поется о том, как в Москве жила героиня романа, дворянка и бездельница, страдавшая от «русской любви», как она спуталась с Вронским, «страшным бездельником» и офицером к тому же, который был таковым потому, что его вырастила другая эпоха и он не жил в СССР. Когда же Вронский «забыл про свои обещанья, показав, что идейно отстал», Анна «гордо легла на рельсы, и никто в те далекие дни капитала не сообразил ее спасти».

Вот как погибали пустые кокетки,
Видавшие царский режим,
Но мы, пережившие дни семилетки,
Не миримся с фактом таким.

Песня заканчивается словами, открывающими, что поет их Сергей, сын Анны Карениной, который просит у слушателей хотя бы кусок хлеба, чтобы не пришлось ему окончить свою жизнь, как его мать. Полна подлинного народного юмора «Заводская профкомовская».

Служил на заводе Сергей пролетарий,*)
Он в доску был отъявленный марксист:
И был он член профкома,
И был он член месткома,
И в общем — стопроцентный активист.

Евонная Манька страдала уклоном,
Плохой промежду ними был контакт, —
Накрашенные губки,
Колена ниже юбки,
А это, безусловно, вредный хвакт.

«Маруся, Маруся, оставь свои замашки,
Они комплиментируют тебе!»
А Манька ему басом:
«Катись к своим ты массам!
Не буду я сидеть в твоём клубе!»

Тут очень рассердился Сергей пролетарий,
Пошла промежду ними тут буза:
«Ты пакостная гада,
Тебя мне не надо,
И шток не видели тебя мои глаза!»

Тут бедная Манька и плачет и рыдает
И волос на себе, конечно, рвет,
Сергей же не сдаётся,
Он будет с ей бороться,
Он маньковщину с корнем изведет!

Некоторые песни показывают, что народное творчество не прекращается и в последнее время. Вероятно, уже после 1956 года была создана эта сатирическая «пасхальная» песня:

*) М. Михайлов даёт пересказ песни. Приводим её полный текст. Песня возникла в начале 30-х годов. — Прим. пер.

Смотрю на небо просветленным взором.
Я на троих с утра сообразил.
Я этот день люблю, как «День шахтера»,
Как праздник наших «Вооруженных сил».

Сегодня яйца с треском разбиваются,
И, душу радуя, гудят колокола,
И пролетарии всех стран соединяются
Вокруг накрытого пасхального стола.

Все яйца красят в синий и зеленый,
А я их крашу только в красный цвет.
Несу в руках их гордо, как знамена,
Как символ наших доблестных побед.

Под колокольный звон ножей и вилок
И под прекрасный запах куличей,
Как хорошо в таком лесу бутылок
Увидеть даже морды стукачей.

Так расцелуемся с тобой, прохожий,
Прости меня за чистый интерес.
Мы на людей становимся похожи.
Давай еще: «Воистину Воскрес!»

Большое впечатление оставляет песня послевоенного времени, в которой рассказывается о трагедии солдата — инвалида, с женой которого спит тыловой писаришка, украшенный орденами:*)

Я был батальонный разведчик,
А он — писаришка штабной.
Я был за Россию в ответе,
А он спал с моею женой.

*) М. Михайловым даны восемь четверостиший этой песни в переводе на сербский. Нам известна только часть текста этой песни на русском. Остальную часть даем в пересказе по тексту М. Михайлова. — Прим. пер.

Жена моя, бедная Кланька,
Ужели тебе все равно?

Зачем поменяла ты, дура,
Орла на такое г...?

Она променяла орла и красавца, который

...от Москвы до Берлина
Три года по трупам шагал,

Шагал, а потом в лазарете
В объятиях смерти лежал.
И плакали тихо сестрицы,
У доктора скальпель дрожал.

Оканчивается песня так: инвалид, отыскивая свой протез, увидел, что у него под койкой спрятался штабной писаришка со своими орденами.

Ударил его в белы груди,
Сорвал я с него ордена, —
Смотрите же, русские люди,
Любуйся, родная страна!

Удивила меня песня о Патрисе Лумумбе, сложенная, очевидно, недавно:

Вдали от нас погиб Патрис Лумумба
И Конго без него осиротело.
Его жена, прекрасная Полина,
С другим мужчиной жить не захотела.
Был митинг на заводе Лихачева
И на заводе «Красный пролетарий», —
Будь проклят ты, палач Лумумбы, Чомбе,
Будь проклят ты, Мобуту с черной харей!

Песни нищенские, солдатские, каторжные (богата Россия слезами и красотой) — сколько их есть еще до сих пор неизвестных обществу, потому что люди только

в последние годы осмеливаются петь их открыто, — а студенты, как всегда, идут в этом впереди других.

Записывает ли их кто-нибудь или они будут записаны только тогда, когда все то, о чем в них поется, станет уже далекой и неинтересной историей? У меня было редкое счастье: я, по игре случая, вероятно, — первый человек, записавший на магнитофонную ленту около двадцати этих песен (студенты мне любезно помогали) и привезший их в Югославию.

Это, без сомнения, самое значительное народное творчество нашей эпохи и понятно, почему оно создано именно в России. Десятилетия концлагерей, в которых по оценкам, полученным путем сравнения различных статистических данных (всеобщая перепись населения, количество голосовавших на выборах, количество малолетних и т. д.), постоянно до 1946-1957 года находилось от восьми до двенадцати миллионов заключенных, без сомнения представляли собой подходящую почву для народного поэтического творчества — единственно возможной формы творчества в лагерных условиях.

Эти песни с того момента, как они получают официальное право на существование, будут петь, несомненно, еще целое столетие, так же, как до сих пор поются песни русских каторжан прошлого века, по красоте уступающие этим новым народным песням.

Спрашивается: чем же занимаются многочисленные советские институты по сбору фольклора?

Спасибо тебе, сибиряк, и вам, далекие московские друзья. Песни русского народа будут звучать вне зависимости от того, напишут ли о них в СССР или будут молчать об их существовании.

БЕЛЛА АХМАДУЛИНА

Водно воскресенья, незадолго до отъезда, я двинулся в сопровождении моего официального гида, симпатичного сибиряка Олега Меркулова на дачу наиболее попу-

лярной сегодня молодой русской поэтессы Беллы Ахмадулиной. Ее дача находится в поселке Ватутино, в 36 километрах от Москвы, в прекрасном густом лесу. Она живет здесь со своим мужем, прозаиком Юрием Нагибиным круглый год и ездит в Москву только по делам. Так поступают многие зажиточные москвичи. Действительно, после пыльной, шумной, многолюдной Москвы Ватутино — настоящий зеленый рай. Лес и тишина. Несмотря на то, что поэтесса нам по телефону долго и подробно объясняла, как ее найти, мы все же много времени проблуждали по «лесным улицам» (дома едва видны сквозь деревья), пока нашли дачу, которую искали.

В комфортабельной, со вкусом обставленной вилле, переполненной картинами и скульптурами молодых современных русских художников и скульпторов, чьи произведения еще нет возможности где бы то ни было открыто выставлять, нас приняла интересная и избалованная молодая дама с татарскими чертами лица, в брюках, спортивной майке и папирсой во рту. Она производит совершенно не советское впечатление, благодаря чему ее фотографии чаще всего появляются на обложках европейских и американских журналов. Рассказывают, что в Ахмадулину влюблена половина всех московских студентов.

Хозяйка предложила нам американские сигареты (в Москве это особый «шик») и в непринужденной беседе в течение одного часа рассказала о себе столько, что, мне кажется, я сейчас мог бы написать полную биографию поэтессы.

Но я этого делать не стану. Это уж кто-нибудь другой сделает, а я отмечу только несколько мелочей, которые мне «зацепились за ухо». Как и остальные молодые поэты, Ахмадулина тоже считает своими учителями Пастернака, Мандельштама и Цветаеву. Несмотря на то, что Андрей Вознесенский, ее близкий друг, несколько раз предлагал ей посетить Пастернака, которым она всегда восхищалась, поэтесса не согласилась.

— Чтобы не разочароваться, — объяснила она.

С Ахматовой она также избегала встречи, но встрети­лась случайно и даже однажды повезла ее в машине на прогулку. Машина посреди дороги испортилась и Ах­матова вернулась домой на такси. И вообще — ох, эта машина! Недавно у Беллы за нарушение правил дви­жения отобрали водительские права, сроком на один год. Муж ругался. А позже и у него отобрали права. Сейчас ездят в Москву автобусом.

Пока мы говорили, сидя на террасе, подошли два соседа — один старик, другой помоложе. Нас познакоми­ли, но я не обратил внимания на фамилии. Лысый ста­ричок рассказал необыкновенно интересно о том, как пу­тешествовало по истории и по различным языкам слово «балаган» — слово арабского происхождения, имеюще­ся и в русском и в испанском и во многих других евро­пейских языках в настолько измененных видах, что се­годня даже трудно отыскать общий корень.

— Встретило слово само себя и себя не узнало, — сказал он.

Я предположил, что рассказчик — лингвист и даже спросил его об этом. Старичок с удивлением на меня посмотрел и, улыбнувшись, сказал:

— Да, конечно.

Только после ухода посетителей я узнал, что мой «лингвист» не кто иной, как известный поэт Павел Ан­токольский.

Позже Белла нам прочла (причем прекрасно!) от­рывки из своего новейшего и потому наиболее любимого произведения «Поэма о дожде». Очевидно русская поэзия движется в направлении модернизма Хлебни­кова, Белого, раннего Маяковского, Пастернака. В поэ­ме дождь входит в дом, играет с детьми и вообще ведет себя как живое существо. Тут вообще нет ни следа «соц­реализма». Ахмадулина без сомнения — необыкновен­но одаренная и сильная поэтическая личность. Несколь­ко лет тому назад я прочел один сборник ее стихов и был глубоко разочарован. Сегодня я вынужден переменить свое мнение. «Поэма о дожде» и «Поэма о Пастернаке»

(напечатана в журнале «Литературная Грузия») свидетельствуют о большом и глубоком таланте, который в прочитанном мною сборнике был парализован официальной тематикой.

Между тем Ахмадулина, как и Булат Окуджава, все чаще пишет прозу. Ахмадулина хотела бы писать как Пруст, которого она любит и читает в русском переводе (первое и единственное издание 1929 года «В поисках потерянного времени», в четырех книгах с предисловием Луначарского, — библиографическая редкость, которую невозможно достать). «Как Пруст» пишет она сейчас новеллу «Пушкинские места», но признаёт, что такой вид прозы принимается еще с неохотой. Ее сказку «Бабушка» не напечатали. Говорят — упадочно. О Джойсе она слыхала, о Вирджинии Вульф — нет.

Перед уходом мы узнали, что в Ватутине живут и многие другие писатели: Тендряков, Бондарев, Твардовский. Мы решили использовать случай и навестить также и их. Ближе всех был Бондарев.

ЮРИЙ БОНДАРЕВ

Ахмадулина проводила нас до дачи Бондарева.

Бондарев — один из наиболее известных молодых русских прозаиков. Родился он в 1924 году. Со школьной скамьи пошел на войну, а после возвращения в нормальную жизнь он, как и большинство его героев, не хотел и не мог идти на компромиссы со своей совестью и — желал он этого или не желал — стал на критическую точку зрения по отношению к существующей действительности. Хотя он печатается уже с 1953 года (сборник рассказов «На великой реке» — 1953, роман «Молодость командира» — 1956, роман «Батальоны просят огня» — 1958, роман «Последние залпы» — 1959), широкую популярность он завоевал только романом «Тишина» (1962), в котором описаны ужасное положение студентов во времена «культа», аресты невинных людей под тем пред-

логом, что они «троцкисты», преследование «космополитизма» в искусстве и т. д. Константин Паустовский назвал роман «Тишина» «произведением большого гражданского мужества». В романе впервые пластически изображены типы партийного бюрократа и «локтевика» фанатического и тупого «жреца культа личности», типы, которые еще в течение многих лет будут бродить по страницам русской литературы. Название романа символично. Все ужасы «культа» происходят ежедневно, а люди молчат, как будто ничего не происходит. Роман переведен на много языков, а в 1963 году издан и у нас (изд. «Светлост» — Сараево). Недавно по роману в СССР снят очень удачный фильм.

В этом году в «Новом мире» опубликовано продолжение «Тишины» — роман «Двое».

В «Тишине» герой романа Сергей Вохминцев вынужден уйти из горного института и уехать из Москвы, потому что он вовремя не сообщил в свою парторганизацию, что его отец арестован как «враг народа». На самом деле он арестован по ложному доносу. Во второй части романа главными героями являются: сестра Сергея — Вохминцева Ася и его друг Костя, известные нам по первой части романа и которые сейчас муж и жена. Потрясает сцена, в которой полупьяный лагерный охранник — приехавший на несколько дней в Москву из Сибири и привезший записку от старого Вохминцева, — рассказывает о том, как транспортируют заключенных:

«— Дети, конечно, за родителей страдают, — говорил, прощая горло кашлем, Михаил Никифорович. — И женщины, жены то есть. А разве они виноваты? Скажем, отец против власти делов наворотил, а они слезами умываются...

— Женщины, говорю страдают, — повторил Михаил Никифорович... — к эшелонам повели колонну, несколько сотен. И тут, значит, такая несуразица случилась. Недалеча от товарного вокзала бабы откуда ни возьмись — из дворов, из закоулков, из-за углов к колонне бросились. Кричат, плачут, кто какое имя выкликают. Они, значит, к тюрьме из разных городов съехались, прятались кто где. Ну, крик, шум, плач, бабы в колонну

втерлись своих ищут... Конвойные их выталкивают, перепугались, кабы чего не вышло до побега. Затворами щелкают... И — прикладами. Командуют колонне: «Бегом, так-распротак!» Побежала колонна, баб отогнали прикладами-то. И тут, слышу, один заключенный слезу вслух пустил, другой, вся колонна ревмя ревет — бабы довели, не выдержали мужчины, значит. Кричат: «За что женщин? Дайте с женами проститься!» А разве это разрешено! Не положено никак. А ежели какой побег? Конвойные в мат: «Бегом! Бегом!» Как тут не обозлиться?

— Перестаньте!.. — послышался ломкий и отчужденный голос Аси...

— Перестаньте! — повторила она брезгливо. («Новый мир» № 4 за 1964 год, стр. 54).

В удобной и просторной даче вместе с гостеприимным хозяином Бондаревым, «типичным русским», открытым и компанейским человеком, излучающим может быть не большой ум, но большую честность и искренность, мы даже не заметили, как выпили бутылку коньяку в пламенном споре о фильмах Антониони и рассуждениях о том, где следует искать корни фашизма, — в социально-экономической сфере, или глубже — в психологически-духовной. Бондарев утверждал, что Антониони, несмотря на свой исключительный талант, сегодня еще не нужен, что он появился слишком рано, потому что большинство человечества мучают другие проблемы: хлеб насущный и кров над головой. Я защищал ту точку зрения, что «большинство человечества» вообще никогда не мучается наиболее важными проблемами (разве вопрос о том, вращается ли Земля вокруг Солнца или Солнце вокруг Земли, мучал «большинство человечества»?) и что Антониони нужен как раз сегодня и еще как нужен, потому что он показывает, что «хлеб насущный и кров над головой» сами по себе ровно ничего не значат и что даже больше того — борьба за этот «хлеб» часто способствует тому, что человек не видит другую, центральную трагедию — трагедию своего одиночества, которую несравненно труднее разрешить, чем вопрос «хлеба и крова». Следовательно, Антониони раз-

рушает миф о том, что «хлеб и кров» могут быть целью, а не только средством для жизни. Я ссылаясь на знаменитого русского критика К. Мочульского, который в своей книге о Достоевском гениально доказал, что роман «Бедные люди» не только социальный роман.

«Если бы горькая судьба героев определялась только бедностью, — говорит Мочульский, — то она не была бы безвыходной. Допустим, что Макар Девушкин получает большое наследство, устраивает свою жизнь и материально обеспечивает Вареньку. Закончатся ли на этом его страдания? Напротив, освобожденные от денежных забот, они станут тогда еще более ощутимыми. Девушкин несчастлив не только потому, что беден: он любит Вареньку неразделенной любовью». (К. Мочульский. «Достоевский, жизнь и творчество», изд. ИМКА-Пресс, Париж 1947 г. стр. 33).

Я утверждал, что делать вид, что «хлеб» все решает, — значит сознательно стремиться в безвыходный тупик; говорил о том, что в стране, которая наилучшим образом решила социальные и экономические проблемы, в Швеции, — наибольшее количество самоубийств, потому что люди в ней наиболее одиноки, так как им приходится бороться меньше, чем где бы то ни было. И наоборот, во время больших катаклизмов, наводнений, землетрясений, во время войн, — самоубийств вообще нет. Это причина, по которой Ф. М. Достоевский оправдывал войны (в «Дневнике писателя»). Но мы так и не сошлись во мнениях. В СССР слишком долго царствовал миф о «социальном рае», и всякий, кто пытается усумниться в этом «рае», кажется по меньшей мере ненормальным, даже такому критику существующего положения, как Бондарев. Таким ненормальным должен был казаться своим современникам Галилей с его утверждением, что Солнце неподвижно, а Земля болтается в пустом пространстве.

То же самое об истоках фашизма. Удивляет наивность, с которой даже наиболее умные советские люди (исключая самые молодые поколения) видят корни нацизма только в экономической сфере. Как будто суще-

ствует человек, который рисковал бы собственной жизнью на войне только для того, чтобы после победы Германии жить лучше экономически. А как раз это утверждал Бондарев. Я спросил его, воевал ли он тоже по «экономическим причинам». Он, конечно, нет, но немцы... Мы никак не могли сойтись.

После трех с половиной часов спора, после того, как были исчерпаны и тема и бутылка, мы все же расстались по-дружески. Как и Эренбург и многие другие советские писатели, Бондарев жалуется, что югославские издатели не послали ему наше издание «Тишины».

ВЛАДИМИР ТЕНДРЯКОВ

Бондарев проводил нас до дачи Тендрякова. Мы ходили вокруг дома, стучали в двери, даже внутрь зашли. Нигде никого. Мы уже собирались уходить, как из кустов появился крепкий блондин лет сорока, с прольсью, в тренировочных брюках и боксерской майке. «Шофер» — подумал я.

— Вам кого надо?

Так и так, — объяснил я. Я из Югославии, переводчик писателя Тендрякова, перевел «Тройку, семерку, туз». И вот, я хотел бы... «Шофер» меня прервал:

— Я и есть этот самый Тендряков, заходите, пожалуйста

Выяснилось, что писатель — чрезвычайно непосредственный человек, который после двух-трех слов начал с темпераментом рассказывать содержание новеллы, над которой он как раз работает.

В отличие от других молодых прозаиков, так называемых «шестидесятников» — поколения, начавшего свою творческую деятельность в шестидесятых годах, — в отличие от Аксенова, Некрасова, Казакова, Никитина, Тарасенкова, Трифонова, Дика, которые зачастую интересной и актуальной тематикой заполняют недостаточную силу выражения, Тендряков — прозаик раг

excellence; он пишет сильным, сочным, скупым языком, без единого лишнего слова, без каких-либо внешних эффектов и даже без занимательной фабулы. Его фразы запоминаются, что для прозаика — поистине редкость.

Тендряков не пишет много, чувствуется, что он не делает ничего на скорую руку. Славы и признания он добился новеллой «Тройка, семерка, туз» (1960), в которой описал конфликт в одном отсталом краю современной России, конфликт, заканчивающийся трагически — убийством, и в котором писатель показывает, что социальный порядок ни в коем случае не решает всех человеческих проблем. Как все талантливые писатели, так и Тендряков почти каждым своим произведением вызывает полемику. Уже одна из первых его повестей «Крепкий узел», главное действующее лицо которой Павел Мансуров, — тип лишнего человека, что недопустимо в советской литературе (главные действующие лица должны быть во всяком случае активистами), — вызвала осуждение со стороны официального критика В. Озерова:

«И за чьей судьбой мы наблюдали на двухстапятидесяти страницах повести? За судьбой способного рабочего, отступившего от ленинских норм жизни и попавшего в безысходный тупик, или за судьбой мещанина, который никого не интересуется? Повесть не дает на это никакого ответа». (В. Озеров. «На путях социалистического реализма». Москва, 1958. Стр. 13).

Большой шум поднялся и вокруг повести «Чудотворная» и вокруг первой драмы писателя «Белый флаг». Драматургу атаковал Ильичев, секретарь ЦК КПСС по идеологическим вопросам. Но крик утих, когда вещь была положительно принята за границей. Сейчас драма входит в репертуар братиславского театра. Повесть «Чудотворная» вошла даже в школьные хрестоматии.

Сейчас похожая история повторяется с самым новым и — по мнению автора — наиболее ценным его произведением — повестью «Находка». В ней описывается душевная перемена и пробуждение человека в

одном закоренелом «начальнике» — лесничем. Бригада лесорубов намеренно «забывает» его в лесу на пустом берегу озера, а он находит тут маленького брошенного ребенка и ценой собственной жизни спасает его, пробиваясь в течение нескольких дней через леса к ближайшему поселку. Твардовский, редактор «Нового мира», носил повесть в ЦК, но разрешения на напечатание до сих пор не получил. Но Тендряков — оптимист.

— Рано или поздно, — говорит он, — будет напечатана.

Он также считает, что дела в СССР быстрым темпом идут на поправку, хотя все еще существует подозрительность и большой страх ко всему новому. Со смехом рассказал он нам, как некоторое время тому назад в одном отеле его едва не арестовали, так как человеку, который спал с ним в одной комнате, показалось, что у Тендрякова ампулы с ядом (это были кристаллические фильтры для мундштука). Этот человек поднял на ноги все местное отделение КГБ. Впрочем, ему это можно простить — ведь в советских газетах и брошюрах часто пишут об американских шпионах, которые пытаются отравить советских руководителей. Яд эти шпионы обыкновенно хранят в ампулах.

С другой стороны, говорил писатель, в СССР есть очень много положительного. Например — чтение книг. Еще Ленин до революции заметил, что простые русские люди больше читают и больше знают, чем остальные европейцы. Тендряков привел известный случай, когда Ленин, проезжая поездом по Германии, установил, что некоторые из его спутников — немцев никогда не слышали о Дюрере. В России ничего подобного не могло бы произойти — писал Ленин.

На это я рассказал Тендрякову, что я, разговаривая с некоторыми студентами «Гитиса», установил, что они никогда не слышали о Владимире Соловьеве! Писатель только беспомощно пожал плечами.

Затем мы перешли к вопросу воспитания и я снова был чрезвычайно поражен, насколько даже самые ум-

ные люди в СССР впитали в себя все основные постулаты сталинщины.

Тендряков с жаром защищал это самое знаменитое воспитание «нового человека» в духе коллективизма и *подчинения* своих интересов интересам общества.

— Если кто-то не желает приносить обществу пользу — мы заставим его силой, — кипятился писатель.

Я заметил, что отсюда до концлагеря только полшага и что история показывает, что силой в течение длительного времени с людьми ничего сделать нельзя.

К счастью, — прибавил я. — А если и есть что-то, что действительно воспитывает, так это личный пример и свобода следовать этому примеру или не следовать.

Я вспомнил постановленный Ройзманом фильм «Коммунист», в котором есть прекрасный пример, подкрепляющий мою точку зрения. Главное действующее лицо пытается двинуть поезд, везущий продукты в голодающее село и остановившийся в лесу из-за недостатка угля для паровоза. Сопровождающие поезд лица безучастно сидят, а когда коммунист пытается убедить их в том, что надо валить деревья и колоть дрова для паровоза, то все смеются. Задача, действительно, слишком тяжела. Тогда коммунист начинает сам рубить дерево, а остальные смотрят. Целый день он упрямо и из последних сил рубит дерево. Люди сперва перестают смеяться, затем начинают сердиться: «брось это дурацкое занятие» — говорят они ему, но в конце концов, когда коммунист падает от усталости, — все берутся за топоры. Вот это, — по моему мнению, — единственно возможный метод воспитания. Если бы коммунист применил свою силу — ему ничего не удалось бы добиться. Люди бы саботировали и халтурили, причем в душе ощущая свою правоту, потому что только таким путем они могли реагировать на насилие (кстати — это и есть разница между ведущей и руководящей ролью).

Но наши мнения так и не сошлись. Вопрос воспи-

тания еще в течение долгих лет будет большим вопросом советского общества. Противоречия трудно полностью преодолеть. С одной стороны, «человек есть результат общественных отношений» и, следовательно, не его нужно воспитывать и менять, а только отношения; с другой стороны, наоборот, «необходимо воспитать нового человека — пусть даже силой». Люди с трудом отказываются от своих ошибочных установок, сколько бы их ни опровергал жизненный опыт, в особенности же если они за эти установки боролись всю свою жизнь, причем исходя из благороднейших побуждений. Поэтому и все новые отрицательные явления жизни характеризуются как «тяжкое наследие капитализма».

Тендряков, между прочим, рассказал, что его друг, известный советский математик, академик Капица, которого уже сейчас считают гениальным, во время Сталина в течение восьми лет находился под домашним арестом.

Поскольку время зашло уже далеко за полночь, Тендряков моего спутника и меня отвез в Москву на своем автомобиле.

ВИКТОР ШКЛОВСКИЙ

Мой проводник и я двинулись в один прекрасный день в Переделкино, — дачный поселок писателей, километрах в тридцати от Москвы.

Мы ехали к Шкловскому.

Виктор Шкловский — один из самых крупных критиков, теоретиков и историков литературы нашего века, поэт, прозаик, теоретик и практик кинематографии — родился в 1893 году. Он сегодня еще творит. Это писатель громадной, универсальной культуры, историк, с одинаковой легкостью говорящий об античной, старокитайской, средневековой и современной лите-

ратуре, самый крупный русский компаративист*) и один из наиболее талантливых русских эссеистов. Почти каждая из его книг вызывала бурную полемику и продолжительные споры. Наиболее значительные его произведения «Искусство, как прием» (1917), «О теории прозы» (1925), «Развитие сюжета» (1921), «Заметки о прозе русских классиков» (1959), «Художественная проза, размышления и анализы» (1961). Особенно ценна его книга «За и против. Заметки о Достоевском» (Москва, 1957).

В теории литературы Шкловский выступает как противник социологического метода (может быть правильнее сказать — как противник «социологической вульгаризации») и доказывает, что развитие искусства — т. е. форм искусства и стилей — не находятся в прямой связи с развитием общества, а обладает автономией, и что у них есть только известное параллельное развитие. Ценность произведения искусства определяется формой, а не так называемым «содержанием». В 1923 году в своей книге «Ход конем» Шкловский писал:

«Искусство всегда было независимо от жизни и никогда не отражало цвета знамени, развевающегося над городской крепостью».

Думаем, что он прав, если «цвет знамени» идентифицируется здесь с жизнью. Он написал также:

«Раздавлю Белинского ножками моего письменного стола».

Известна и его мысль:

«Модернисты ставят мир на голову не для того, чтобы удивить, а для того, чтобы вернуть ощущение реальности».**)

Близкий друг Маяковского, Шкловский, как и великий русский поэт-модернист, видит задачу искусства не в том, чтобы учить людей «вере в настоящее мгно-

*) Компаративизм — сравнительный метод в литературоведении. — Прим. пер.

**) Все три цитаты из Шкловского даны в обратном переводе. — Прим. пер.

вень», а открывать им, что «будущее реальнее настоящего», что художник должен известное сделать неизвестным». А из этого исходит теория «отстранения», т. е. «сдвига действительности» в произведении искусства (вспомним теоретика французского «нового романа»).

Искусство — это игра, говорит Шкловский, но в жизни нет ничего более серьезного и ценного, чем игра. Он даже приводит некоторые аналогии между игрой в шахматы и художественным творчеством.

В теории литературы его считают основателем «науки о мотивировке» в художественных произведениях. На вопрос: должно ли искусство приблизиться к народу и стать понятным каждому, или наоборот — нужно подыматься до искусства, Шкловский отвечает, указывая на пример Льва Толстого, чьи произведения, «написанные специально для народа», народ не читает и никогда не читал; народ сам поднялся до «Войны и мира» и «Анны Карениной».

В его последней книге «Художественная проза. Размышления и анализы» (Москва, 1961) мы находим несколько великолепных очерков, как, например, очерк о Хемингуэе, о «Дон Кихоте» Сервантеса, о «Тихом Доне» Михаила Шолохова. В последнем он, между прочим, находит и большое количество модернистских по форме элементов, как, скажем, «черное солнце на черном небе», которое увидел Григорий Мелехов после гибели Аксины. В исследовании об английском классическом романе Шкловский указывает на то, что «течением сознания» уже пользуется Стерн в «Тристраме Шенди»^{*}).

В той же книге, в обширном исследовании «О русской повести и романе» Шкловский проводит интересную параллель между Львом Толстым и Джемсом

^{*}) Лоренс Стерн (1713-1768) — английский писатель, священник. Речь идет о его романе в 9-ти книгах «Жизнь и мнения Тристрама Шенди» (написан в 1760-1767 годах).

Джойсом. Одним из первых произведений Толстого был необыкновенный «Рассказ вчерашнего дня» (1851), который, — как думает Шкловский, — если бы Лев Николаевич его окончил, был бы чем-то вроде «Уллиса» Джемса Джойса. Этот рассказ, в котором с джойсовской доскональностью описаны сознательные и подсознательные состояния автора, Толстой оставил незаконченным, с примечанием, что «есть вещи, которые труднее не написать, чем написать», потому, что он понял, что «внутренний мир», т. е. «мир в самом себе» — рабство и что только забвение самого себя дает человеку свободу. В этом на Толстого могли бы сослаться и писатели французского «нового романа», которые также избегают описания «внутреннего мира» человека.

В течение долгих лет Шкловского игнорировали и затирали и только после 1956 года снова появились его многочисленные книги.

И вот сейчас я буду говорить с этим человеком, который уже сегодня — живая история русской литературной мысли.

Кроме того, в Переделкино находится могила Пастернака, которую я хочу видеть.

Проходя через лес по пути к «Дому творчества» (дому отдыха Союза писателей), в котором летом живет и работает великий русский критик, мы увидели кладбище и пошли искать могилу Пастернака. Кто-то из прохожих указал нам направление и сказал, чтобы мы искали три сосны. Между тремя соснами находится могила поэта.

Мы долго блуждали по большому кладбищу; сосен было очень много, но могилы Пастернака — нигде. Проходили какие-то женщины, но на наш вопрос они ответили вопросом: «Пастернак, это тот летчик?». Мы встретили еще двоих, которые не знали ни где могила поэта, ни самого поэта. Как видно, официальное замалчивание дает результаты. В конце концов одна пожилая женщина отвела нас к этим трем соснам, но мы не смогли ничего увидеть, так как рабочие как раз уста-

навливали мраморные плиты для надгробного памятника поэту. Они не могли нам сказать, кто финансирует постройку памятника.

Мы ушли с кладбища и двинулись по узким асфальтированным тропинкам к «Дому творчества». Кстати, это вовсе и не дом, а множество небольших деревянных домиков между деревьями, в которых живут московские литераторы, и только едят они в большом центральном здании. Шкловского мы нашли быстро. Сильный, небольшого роста, устатый человек с бритой головой, на вид гораздо моложе своих 70 лет, сидел в купальных трусиках (жара была невыносимая) на стуле под деревом.

Он принял нас любезно и непосредственно, рассказывал о своей работе, о том, что никогда не делает заметок, а всегда пишет «по памяти». Это просто трудно понять, учитывая громадный фактический материал, находящийся в его произведениях.

Потом беседа, естественно, пошла о Достоевском и Виктор Борисович оживился. Услышав от супруги Шкловского, что мы говорим о Достоевском, к нам присоединился и Михаил Семенович Гус — один из выдающихся современных советских «достоевскологов».

С Достоевского разговор перешел к мистицизму. Виктор Борисович рассказывал о своей дружбе с Циолковским. Оказывается, великий русский ученый, пионер прорыва в космос, самым серьезным образом утверждал, что он общается и беседует с духами. От Шкловского я узнал, что первым учителем математики Циолковского был Николай Федоров — один из самых загадочных русских философов XIX века. Федоров заметил, что мальчик Циолковский очень интересуется математикой и астрономией, поддержал его, развил и преподавал ему основы математических знаний. Станный и загадочный, мало известный мыслитель Николай Федоров печатал свои произведения всегда только в нескольких десятках экземпляров, так как считал, что они «не для каждого». Своих читателей он выбирал сам.

И Толстой и Достоевский его чрезвычайно ценили. Главной идеей Федорова было воскрешение всех людей, когда бы то ни было живших в истории, — но научным путем. Эту свою идею он базировал на оригинальной теории относительности и возможности передвижения во времени. Шкловский рассказывает, что Федоров однажды изложил свою теорию о воскрешении своему ученику Циолковскому, а мальчик очень логично спросил: «А как уместить столько людей на земле?». Федоров ответил: «Есть достаточно звезд». Это, как будто, и пробудило в мальчике желание осуществить возможность полетов в космос и таким образом родился первый великий теоретик космических полетов.

Говоря о современном французском «новом романе», Шкловский рассказал, что он нашел два неизвестных последних рассказа Толстого, которые ни на йоту не отличаются от прозы Натали Саррот.

Я рассказал о своем открытии: в романе Алексея Ремизова «Пруд» (1908)*) есть несколько мест, идентичных с ключевыми сценами «Процесса» Кафки. Оказалось, что Шкловский об этом не знал. Виктора Борисовича это очень заинтересовало, а Гус, который как раз работает над книгой о русском модернизме, сразу записал названные мною факты. Я был приятно удивлен, что такой типичный соцреалистический теоретик и историк литературы, как Гус (судя по его книге о Достоевском), знаком с Тейаром де Шарден. Он рассказывал, что лично знал Бердяева в то время, когда он, Гус, был студентом, а Бердяев — известным профессором в «Академии свободной мысли» в Москве (1919-1922).

Мы говорили и о русской философии, о Соловьеве, Леонтьеве, Розанове, Шестове, Лосском — о столь мало сегодня известных и несправедливо замалчиваемых на их родине мыслителях.

*) Роман «Пруд» с рисунками М. В. Добужинского вышел в издательстве «Сириус» в Санкт-Петербурге.

Большое впечатление произвела на меня живость духа большого писателя, его всесторонние интересы и громадная культура. Когда мы простились с Виктором Борисовичем и Михаилом Семеновичем и двинулись назад в Москву, я пришел к заключению, что познакомился с одним из самых культурных, самых умных и самых образованных людей нашего века.

БУЛАТ ОКУДЖАВА

Это один из самых известных людей громадной страны. Москвич, шансонье, поющий свои стихи на сочиненные им самим мелодии, аккомпанируя на гитаре. Его слава подлинная, это не та ложная, искусственная слава, созданная ежедневным упоминанием в печати. Нет, о великом шансонье советская печать молчит. Но его песни и стихи ходят по России и звучат всюду, где встречаются трое или четверо молодых людей.

В поездах, в парках, на студенческих вечеринках — всюду я слышал песни большого художника — Булата Окуджавы. Мне рассказывали, что он одинаково популярен и у мурманских моряков и в молодежных рабочих поселках на бескрайних равнинах Казахстана.

Песни Окуджавы распространяются обыкновенно при помощи магнитофонных лент. Магнитофон сегодня в жизни Советского Союза является важным фактором. Магнитофоны сравнительно дешевы и многие их покупают, в особенности молодежь; и с помощью магнитофонных лент распространяется и переносится из города в город все то, что официальная печать и радио избегают включать в свои программы.

Положение Булата Окуджавы очень двусмысленное. Его песни не запрещены, больше того, Окуджава дает многочисленные концерты в больших городах, на которые приходит до 18.000 (восемнадцати тысяч!) слушателей. Между тем грамофонных пластинок с его песнями достать невозможно по той причине, что их не

производят. Окуджава мне сам рассказывал, что уже два раза делались матрицы для производства пластинок, но в последний момент «кто-то» тормозил дело. А какие-то польские журналисты отвезли ленты с его песнями в Польшу и сегодня радио Варшава полным ходом передает Окуджаву. Больше всего вредит на родине поэту то обстоятельство, что кроме радио Варшавы этим же занимается и мюнхенская радиостанция «Свобода».

Окуджаву я в Москве не застал. Его мать дала ленинградский телефон поэта и я с ним встретился в гостинице «Октябрьская», в которой я остановился. Гостиница находится вблизи Московского вокзала, а поскольку поэт в этот вечер уезжал в Москву, ему как раз было удобно зайти ко мне на час-другой перед отъездом.

Окуджава высок, худощав, черноволос; ему около сорока лет, выглядит он не русским (его отец грузин, мать — армянка). У него небольшие усики и умные печальные глаза. Чем-то он мне все время напоминал Зоценко. Великого русского сатирика описывают именно так.

Окуджава родился в 1924 году. В сорок втором году ушел на фронт добровольцем, после войны окончил педагогический институт и пять лет работал учителем в одном забытом селе. Его отец расстрелян во время больших чисток как «японский шпион», мать 19 (девятнадцать!) лет была в заключении в одном из сибирских женских лагерей. В 1956 году была реабилитирована и вернулась в Москву. И мать и отец были членами партии.

Окуджава сначала писал стихи. Их печатали. Затем прозу. И только случайно однажды вечером в веселом обществе запел под гитару слова одного своего стихотворения, импровизируя мелодию. Новорожденная песня так понравилась, что поэт тут же симпровизировал еще несколько мелодий на слова своих стихов. Позже, в Москве, Лев Аннинский, один из редакторов

журнала «Знамя» и хороший друг Окуджавы (переснявший, по просьбе поэта, для меня ленты с его песнями), рассказал мне, что именно он в тот вечер, четыре или пять лет тому назад, когда Окуджава запел, сразу записал на магнитофон импровизации поэта, а на следующий день было сделано еще пять копий, потому что все хотели получить эти песни. И так Окуджава, еще сам того не зная, двинулся в победоносный поход по советской земле.

Между тем такая поистине общенародная известность привлекает к себе внимание не только любителей красоты. Поскольку много песен Окуджавы имеют ноту сатирического отношения к жизни, поэту часто приходится вести малоприятные разговоры и получать предупреждения.

Но, как он сам говорит, — все реже и реже. Люди постепенно привыкают к свободному слову, и в этом отношении и Окуджава — оптимист.

Вот пример. Несколько лет назад стала широко известна его «Песенка о дураках»:

Вот так и ведется на нашем веку —
на каждый прилив по отливу,
на каждого умного по дураку,
все поровну, все справедливо.

Но принцип такой дуракам не с руки, —
с любых расстояний их видно.
И все им кричат: «Дураки! Дураки!»
А это им очень обидно.

И чтоб не краснеть за себя дураку,
чтоб каждый был выделен, каждый,
на каждого умного по ярлыку
повешено было однажды.

Давно в обиходе у нас ярлыки,
по фунту на грошик на медный.

И умным кричат: «Дураки! Дураки!»
А вот дураки незаметны.

Поэта вызвали в ЦК и сказали ему приблизительно следующее: «Вы так хорошо поете свои песни, зачем вам надо было сочинять этих «Дураков»?». Поэт обещал, что он больше не будет петь на концертах эту песенку. Через год он сочинил другую — «Черный кот»:

Со двора подъезд известный
под названьем черный ход.
В том подъезде, как в поместье,
проживает черный кот.

Он в усы усмешку прячет,
темнота ему, как щит.
Все коты поют и плачут,
только черный кот молчит.

Он давно мышей не ловит,
усмехается в усы,
ловит нас на честном слове,
на кусочке колбасы.

Он не бегаёт, не просит,
желтый глаз его горит,
каждый сам ему выносит
и спасибо говорит.

Он и звука не проронит,
только ест и только пьет.
Лестницу когтями тронет —
как по горлу поскребет.

Оттого-то, знать, невесел
дом, в котором мы живем...

Надо б лампочку повесить, —
денег все не соберем.*)

Окуджаву снова вызвали в то самое место и сказали следующее: «Вы поете такие красивые песенки, — как, например, «Дураки». Но зачем вам надо было сочинять этого «Черного кота»?».

— Вот так это и идет, — говорит поэт, и его оптимизм совершенно оправдан.

Также было и со сборником стихов. Два года тому назад одно издательство приняло сборник стихов под названием «Последний троллейбус». Между тем кому-то показалось, что название сборника слишком пессимистично и его назвали «Веселый барабанщик» (по названию другого стихотворения из сборника). Затем оттуда был выброшен десяток стихотворений, которые издателю показались подозрительными. Поэт утверждает, что в них ничего подозрительного не было, а что их выбросили «на всякий случай».

— А может быть под словом «чаша» Окуджава подразумевает «бомба»? — иронизирует поэт.

И наконец было решено вообще не печатать сборник. Тогда Окуджава написал письмо с протестом Ильичеву (это напомнило мне знаменитое письмо Замятина Сталину). Ильичев Окуджаве не ответил, но издательство сообщило поэту, что сборник, конечно, будет напечатан и что никто и не думал задерживать печатание и т. д. и т. п. В этот период поэт написал еще несколько стихотворений и поместил их в сборнике, вместо тех, которые были выброшены. Издатель вновь просеял и эти новые «на всякий случай». Но в это время было

*) М. Михайлов дает эти две песни Окуджавы в пересказе. Мы печатаем их, как и последующие, по книге: Булат Окуджава. «Будь здоров, школяр». Стихи (опубликованные и неопубликованные), выпущенной издательством «Посев» в 1984 году. — Прим. пер.

написано еще несколько стихотворений — и так это продолжается без конца.

И только недавно, в сентябре Окуджава написал мне, что сборник вышел. Ну, желаю счастья!

Всего было написано девяносто песен. Теперь — уже больше года — поэт не пишет песен. У него потерял к ним интерес; это и понятно, если принять во внимание, что он вынужден был слишком часто повторять свои песни на концертах. Сейчас он все больше обращается к прозе.

Год тому назад «Правда» атаковала повесть Окуджавы «Будь здоров, школяр»*) (которая переведена и у нас в Югославии). Но атмосфера разрядилась и Окуджава работает над романом «Новенький»**). Это, как он сам говорит, веселые, а на самом деле очень печальные приключения сельского учителя.

Кстати — за границей поэт еще не был. Когда приходят приглашения из Польши или Чехословакии посетить их страну, Союз писателей отвечает, что Окуджава слишком занят и что он приносит свои извинения. Окуджава кипит. Он очень хотел бы посетить Югославию.

Песенки Окуджавы — драгоценный вклад в русскую поэзию и они будут жить до тех пор, пока существует Москва, потому что это — захватывающая мелодия большого города, московских улиц и переулков, троллейбусов и бедных комнаток, пьяных скандалов в известном грузинском ресторане «Арагви» и проститу-

*) Атаки на эту повесть были и раньше, сразу после того, как она увидела свет в 1961 году. «Вина» Окуджавы усугублялась еще и тем, что повесть была опубликована в самовольно выпущенных группой писателей «Тарусских страницах» (под редакцией К. Паустовского), вскоре после выхода изъятых из продажи. — Прим. пер.

***) Название романа получено путем обратного перевода. Возможна ошибка. — Прим. пер.

ток, которые по вечерам собираются у памятника Пушкину.

Эти песенки — «живая жизнь» Москвы. Они говорят о безымянных, простых жителях громадного города, как, например, песенка о «московском муравье», который должен кому-то молиться и создает себе Бога; о последнем троллейбусе, который «вершит по бульварам круженье» и подбирает всех потерпевших крушение этой ночью:

Когда мне невмочь пересилить беду,
когда подступает отчаянье,
я в синий троллейбус сажусь на ходу
в последний, в случайный.

И прикосновение плечами к другим людям в переполненном троллейбусе спасает человека — «как много доброты в молчанье, в молчанье».

О каждой песенке Окуджавы можно писать очень много и не суметь ничего сказать. Их необходимо услышать. Как передать мелодию прекрасной песни об Арбате:

Ах, Арбат, ах Арбат, ты моя религия...

От любви твоей вовсе не излечишься
сорок тысяч других мостовых любя.
Ах Арбат, мой Арбат, ты мое отечество, —
никогда до конца не пройти тебя.

В этих песнях увековечен и полусвет («А мы швейцару: отворите двери, у нас компания хорошая, большая...»). И вот в песне рассказывается о том, как эта компания проходит по залу, в котором сидят «бездельники и шлюхи», как «Любе вслед глядит один брюнет» и какое чувство испытывает поэт:

Я не любитель всяких драк.
Но мне сказать ему придется,
что я ему попорчу весь уют,
что наши девушки за денюжки, —
представь себе, паскудина, брютет,
они себя не продают!

Все это — на первый взгляд небольшие и «в историческом масштабе» маловажные трагедии и свидетельства мужества обыкновенных людей; радости, как например, путешествие с подругой в «спецовочке такой замасленной» на другой конец Москвы (и главное — «за двугривенный»), счастье, неожиданно появившееся в дверях бедной чердачной комнатки (с протекающим потолком, конечно) в виде красивой женщины («ваше величество, женщина, вероятно вы сменили улицу, город и столетие»); вся жизнь безымянных людей, которым дают неограниченный кредит только «три судьи, три жены, три сестры милосердных — неразлучные *Вера, Надежда, Любовь*». Все это вылилось и увековечилось в песнях Окуджавы.

Слава большому поэту, который не забыл, что кроме государств, истории, полетов в Космос, конфликта общественных систем, гигантских строек, существует нечто, что называется — человек! Интересна песня «Петухи» — о том, как каждый день на заре кричат петухи, но «нету уже дураков, чтоб сбегаться на крик петухов». Все герои песен Окуджавы могли бы согласиться со словами Швейка из спектакля Бертольда Брехта «Швейк во второй мировой войне», который на болтовню о *великой исторической эпохе, в которой мы живем*, отвечает: «нас... мне на великую эпоху».

В песенке «О бумажном солдате» рассказывается о солдате, который «переделать мир хотел, чтоб был счастливым каждый», но забыл, что он — бумажный.

Не доверяли мы ему
Своих секретов важных,

А почему? А потому,
Что был солдат бумажный.

И солдат непрестано звал на борьбу, в огонь и однажды шагнул в огонь и сгорел — потому что «был солдат бумажный».

Без сомнения, песни Окуджавы должны вызвать недовольство всех любителей строевого шага и военных оркестров. «Еще многих глупцов будет радовать бодрая песня солдата» — поет Окуджава. Немало песен посвятил он войне и армии. Но само отношение к войне должно вызвать в чересчур патриотических кругах — отталкивание. Окуджава издевается над любой войной, над любой армией. Так, одна песенка рассказывает о том, как:

В поход на чужую страну собирался король.
Ему королева мешок сухарей насушила
И старую мантию так аккуратно зашила,
Дала «Беломора» три пачки и в тряпочке соль.

Король свое войско, в котором были «пять грустных солдат, пять веселых солдат и ефрейтор», разделил пополам:

«веселых солдат интендантами сразу назначил,
а грустных оставил в солдатах — «Авось ничего».

Грустные солдаты «не вернулись из схватки военной», а веселые победоносно явились с трофеями — «пряников целый мешок захватили они». Песня заканчивается словами:

Играй же, оркестр, звучите и песни и смех,
Минутной печали не стоит, друзья, предаваться.
Ведь грустным солдатам нет смысла в живых
оставаться
И пряников, кстати, никак не хватило б на всех.

Одна из наиболее известных песен Окуджавы — «Песенка о солдате»:

Возьму шинель и вещмешок и каску,
В защитную окрашенные краску,
Ударю шаг по улицам горбатым,
Как просто стать солдатом, солдатом.

Забуду все домашние заботы,
Не надо ни зарплаты, ни работы.
Иду себе, играю автоматом,
Как просто быть солдатом, солдатом.

А если что не так — не наше дело,
Как говорится: «Родина велела!»
Как славно быть ни в чем не виноватым
Совсем простым солдатом, солдатом.

Интересно, что на концертах Окуджава песню объявляет так: «Песенка об *американском* солдате».

Необыкновенно популярна «Песня о Леньке Королеве», в которой говорится о парне Леньке, которого товарищи очень уважали «и присвоили ему званье короля», потому что он протягивал свою «царскую руку» ближним, находящимся в несчастье. Когда началась война, «...король, как король, он кепчонку как корону — набекрень и пошел на войну». Он не вернулся, но невозможно поверить в его гибель, невозможно себе представить Москвы «без такого, как он, короля».

Что же касается ответственности за войну, то про это Окуджава поет:

А как первая война — да ничья вина,
а вторая война — чья-нибудь вина,
а как третья война — лишь моя вина...

Россия всегда была известна богатством прекрасных песен и романсов (вспомним только Вертинского),

и Окуджаву доказывает, что это и сегодня так. Как много вреда наносят русской культуре те, кто препятствует выпуску пластинок, передач по радио и печатанию песен Окуджавы! Но пока существуют такие таланты, как Булат Окуджаву, русское искусство, русская музыка будут жить — вопреки всему.

«АПОЛОГЕТ АБСТРАКЦИОНИЗМА»

Владимир Николаевич Турбин — один из самых популярных преподавателей Московского университета. Где бы не заходила речь об искусстве и литературе, о формализме и модернизме, повсюду я слышал имя Турбина. Мне это имя ничего не говорило. Мои друзья из МГУ с большим трудом добыли для меня книгу Турбина и то всего на два дня, только для прочтения. И мне не жаль затраченного времени. История с Турбиным лишней раз показывает, как мало мы знаем о том, что происходит в Советском Союзе.

Дело в том, что в 1961 году вышла книга В. Турбина «Товарищ время и товарищ искусство» (изд. «Искусство», Москва, 1961 г.), посвященная проблемам модернизма в литературе. Критик в своем интересном и поистине вдохновенно написанном произведении обоснованно защищает всякий модернизм, включая сюда и кубизм, главным образом опираясь на раннего Маяковского и русских футуристов. Основная мысль защиты следующая: когда человек голоден — для него благодатью является материальное изобилие. Но если он насытился — чрезвычайно важным становятся другие формы жизни, а не только питание. То же и в искусстве. Прогресс означает не бесконечное увеличение уже существующего в небольших размерах количества, а изменение самого насущно необходимого качества. Прогресс искусства не означает увеличение количества так называемых реалистических произведений, а качественное изменение — модернизм.

Симптоматичен и эпиграф книги, несколько строк из Маяковского:

Взрывами мысли головы содрогая,
артиллерией сердце ужая,
встает из времен
революция другая —
третья революция
духа.

Книга напечатана тиражом в 22 000 экземпляров, что для СССР более чем абсурдно малое количество, и ее сейчас нигде нельзя получить. После ее выхода, конечно, поднялось карканье. Ильичев атаковал Турбина, назвав его в «Правде» «апологетом абстракционизма».

При встрече с Турбиным, молодым мужественным человеком с седыми волосами, я спросил, как обстоят дела сегодня. Турбин — оптимист. Несмотря на атаку Ильичева, он не был вынужден уйти из университета — «не те времена». Сейчас он готовит новую книгу, схожую по идее с первой и еще — как он говорит — более радикальную, а возможно, что и первая книга будет переиздана.

Из-за того, что как раз наиболее значительные явления в духовной жизни большой страны умалчиваются, книга Турбина, которая во многом предвосхищает «Реализм без берегов» Р. Гароди, совсем неизвестна миру и снова талантливый славянин теряет приоритет в культурной жизни человечества. Для России, впрочем, это не представляет ничего нового. Если вспомнить замалчивание на их родине Шестова, Бердяева, Ремизова, Замятина, Розанова, Федорова, Леонтьева, Соловьева и других многочисленных художников и мыслителей как XX, так и XIX века, то мы увидим, что традиция, которой уже более двухсот лет, — все еще жива.

А между тем Замятин говорит, что еретики — соль

земли, они держат жизнь на высоте и сколько бы их ни замалчивали — они будут появляться снова. Или, как пишет Турбин:

«...ученик непослушный и дерзкий, отваживающийся спорить с учителем, искусству нужней...» («Товарищ время и товарищ искусство», стр. 10).

ЕВГЕНИЙ ВИНОКУРОВ

На улице Воровского, недалеко от югославского посольства, находится Дом писателя — центр Союза советских писателей с различными иностранными комиссиями и отделами.

Чествования, торжественные заседания происходят в большом зале центрального здания, а в подвале, в клубе, можно выпить кофе «эспрессо»; к тому же это единственное место в Москве, где хорошо готовят кофе. Эренбург мне сказал: «У нас кофе проваривают, как борщ».

В большом зале я прошел мимо мертвого тела Самуила Маршака, а в клубе пил кофе.

Все стены клуба покрыты рисунками, карикатурами и соответствующими стихами современных поэтов. Совсем как в клубе художников на Калемегдане*).

В Доме писателя я встретился с Евгением Винокуровым — поэтом, немного старшим, чем плеяда «молодых», не столь громким, но талантливым и оригинальным русским лириком. Винокуров сегодня, вероятно, единственный философски настроенный поэт русского Парнаса, а его поэзия — свободные стихи без рифмы — больше всего приближаются к западноевропейской.

За несколько дней до моего приезда в Москву как раз вышла из печати последняя книга стихов Виноку-

*) Калемегдан — старинная крепость на скале в месте слияния рек Савы и Дуная, возле которой образовался город Белград. — Прим. пер.

рова под заголовком «Музыка» (изд. «Советский писатель», Москва, 1964). Странно выглядит эта типично несоветская поэзия в океане сборников бесконечных стихотворцев. Ни одной социальной темы, ни одной патриотической или революционной! И ко всему — уверенность большого мастера. Именно этим можно объяснить тот факт, что Винокурова чаще, чем кого бы то ни было из современных русских поэтов переводят на иностранные языки. В этом году вышли сборники переводов его стихов в Италии, Болгарии, Чехословакии, Венгрии. Без сомнения, в русской поэзии Винокурова можно связать лишь с традицией Тютчева, которого он, кроме Пастернака, Цветаевой, Мандельштама и Заболоцкого, считает своим учителем. Из западных — Рембо.

Отсюда и отказ Винокурова выступить вместе с Евтушенко, Рождественским, Ахмадулиной и остальными на митингах поэзии. «Поэзию человек должен всегда читать один» — сказал мне поэт, небольшой полный человек лет сорока, по внешнему виду которого никто не заключил бы, что имеет дело с поэтом. «То, что нравится всем, — всегда скверно», — добавил он.

Для примера приведу одно характерное для него стихотворение «Ритм» (сборник «Музыка», стр. 33):

Шоферы боятся самоубийц.

Однажды, видя, как парикмахер
Натачивал бритву на ремне,
Я подумал, что ритм правит миром.

Ритм задан миру.
Мир заведен, как бывают
Заведены туго, до отказа часы.

Ночь с необходимостью
Сменяется днем.

На улицах помаргивают светофоры.
Ложечка методично вращается
В стакане вахтера
Музея Восточных культур.
Луна руководит
В океане приливом и отливом.
Ритмичны пуговицы на жилете.
Мать, вытащив тяжелую грудь,
Покачивает ребенка.
Все живое пульсирует, как звезды.

Но кто знает,
Что может прийти человеку в голову?

Эпиграфом к этому последнему сборнику стихов поэт взял строчки из Заболоцкого: «Стань музыкою — слово». И действительно, в сегодняшней русской поэзии Винокуров единственный пишет кристальным «акустическим» стихом — как какой-нибудь французский символист, а не современный русский поэт.

Не верю, что Евгений Винокуров станет когда бы то ни было особенно популярным поэтом в своей стране (и именно поэтому его и не будут резко критиковать). Русские привыкли к другому роду поэзии, к так называемой «ангажированной», причем в любом направлении — гилозоистической. А Винокуров — уединенный мыслитель, для которого мир и жизнь — непрекращающееся чудо, которого люди не видят и даже им не снится, что это чудо:

Я хочу написать когда-нибудь книгу,
Где было бы все о времени.
О том, что его нет.
Что прошлое и будущее —
Одно и то же сплошное настоящее.
Я думаю, что все люди —
Те, кто живет, те, кто жил,
И те, кто еще будут, —
живут сейчас.

ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ

И вот, впервые в Москве вижу стены, завешанные подлинными картинами модернистов: Пикассо, Шагала, Брака. Нет, это никакая не выставка — это квартира Ильи Эренбурга.

Эренбург — поистине молодой старик. Его тело уже перестает повиноваться духу и писатель передвигается медленно, но его глаза блестят, а язык действует живо и темпераментно, остроумные сарказмы и иронические замечания — все это обрушивается на собеседника.

За день до моего посещения писатель прилетел из Цюриха, где он задержался по дороге из Италии, а сразу после моего посещения отправился в Новый Иерусалим, в 60 км. от Москвы, в котором когда-то жил Чехов, на свою дачу. Так что мне посчастливилось застать Эренбурга в Москве, так как о путешествии к нему на дачу не могло быть и речи: я уже истратил все свои рубли, а в нашем посольстве мне не удалось занять ни копейки. (Несколько лет тому назад посольство всегда давало займы югославам в Москве, но один загребский управляющий театром вообще не вернул занятых денег и в посольстве решили больше никому не идти навстречу).

Под прекрасные кубинские сигареты и настоящий турецкий кофе, окруженный шедеврами модернистской живописи, Эренбург с наслаждением (ввиду очевидного успеха у публики) упражнял свой острый и эластичный ум.

Началось с Югославии.

— Ну, видно, что вы социалистическая страна — сказал он, усмехаясь. — Я слышал, что вы издали моего «Хуренито», но мне никто не послал хотя бы экземпляр. В Европе подобного никогда не случается.

В прошлом году в Советском Союзе, после тринадцатилетнего перерыва, наконец вышел «Хулио Хуренито» в первом томе собрания сочинений Эренбурга, но, конечно, общипанный; издатели выбросили главу, в ко-

торой описано посещение Хуренито Ленина в Кремле.

— Видите ли, — говорил писатель, — все наши издатели больны лицемерием. Они убеждены в том, что — поскольку они выбрасывают из книг любой намек на физическую любовь — люди на самом деле поверят в то, что детей не рождают женщины, а что их находят в капусте. Еще недавно, если судить по нашим фильмам и книгам, юноша и девушка, влюбленные друг в друга, не находили более умного занятия, чем петь патриотические песни, взявшись за руки.

Я спросил его, чем он объясняет такой советский пуританизм, если вспомнить, что в первые десять лет после Октябрьской революции в России царствовала необычайная свобода в человеческих отношениях, в то время как сегодня получить развод брака в СССР почти столь же трудно, как в Италии, а из иностранных фильмов удаляются все более или менее свободные сцены, — так, что можно подумать, что это — по требованию ватиканской цензуры. Эренбург считает, что это является следствием притока большого количества людей из села в город в начале тридцатых годов и вообще политическо-общественной реакции периода «культы личности».

Разговор перепрыгивал с одной темы на другую безо всякой связи и я узнал, что писатель знаком даже с современной югославской живописью (он упомянул Лубарду и Тарталью), но о югославском абстракционизме у него мнение очень низкое и польский абстракционизм он оценивает несравненно выше. Что касается нынешних советских художественных перипетий, Эренбург считает, что, благодаря изоляции искусства, все чаще случается, что молодые советские художники сами наново открывают абстракционизм, и это очень печально, так как не будь этой изоляции, они бы могли очень быстро воспринять полувековую традицию модернизма и идти дальше.

— А так, — сказал он, — у нас сейчас много при-

готовишек модернизма, а мы могли бы иметь и мастеров.

— Я сейчас уже ничего не боюсь, я слишком стар, — сказал он и удивил меня открытой издевкой насчет Хрущева:

— Этот впервые увидел женский акт на выставке молодых московских модернистов осенью 1962 года (как известно, на этой выставке партийная делегация во главе с Хрущевым объявила открытую войну модернистам).

Затем мой хозяин интересно и живо стал описывать свои встречи с Львом Шестовым и Андреем Белым в Берлине в 1922 году. Со Сталиным он всего один раз говорил по телефону и один раз видел его вблизи. Эренбург считает, что Сталин был все-таки более значительной личностью, чем Гитлер. Он еще много рассказывал о том, что больше всего любит Чехова, что современные молодые писатели слишком поздно созревают, и т. д. И все окончилось бы прекрасно, если бы разговор не перешел на одну тему, о которой у меня особое мнение, совершенно противоположное мнению Эренбурга. Слово за слово и мы увязли в таком жестоком споре, что вместо запланированного часа я задержался в разговоре с писателем больше трех часов.

Возмутило меня то, что в один прекрасный момент в связи с самой существенной проблемой жизни человечества блестящий дух Эренбурга, как мне кажется, внезапно отказался функционировать и передо мной внезапно очутился человек с типично советской психологией, глухой к каким бы то ни было аргументам и эмпирическим фактам. Дело было вот в чем: говоря о том и о сем, Эренбург начал острословить по поводу способностей русских женщин, занимающихся перестройкой мира, а не умеющих сварить кофе, а я, вспомнив, что я повсюду в СССР видел женщин на самых тяжелых физических, типично мужских, работах (на стройках домов, на земляных работах, за рулем такси и т. д.), спросил Эренбурга, что он думает об афоризме известного польского сатирика Станислава Ержи Ле-

ца: «Социализм — это ад для женщин» и не превратилось ли в СССР право женщин на равноправную работу с мужчиной в обязанность работать вне семьи, что означает для большинства женщин — двойную тяжелую нагрузку? На это Эренбург, избегая прямого ответа, начал рассказывать о том, что в будущем (ох, это прекрасное будущее!) машины освободят человека от работы, что у людей будет больше свободного времени, которое необходимо будет чем-то заполнить и что тогда большую роль в *воспитании* эмоциональной и психической культуры *освобожденного* человечества сыграют два фактора: искусство и женщины.

Этого я уже не смог переварить.

Я думаю, что нет ничего отвратительнее этого видения материально и социально упорядоченного человечества, у которого нет других целей, кроме поддержки этого самого «high life» и воспитания эмоций.

«О, тогда будут много читать, слушать музыку, вести умные разговоры, открывать «тайны природы» и самое главное — не будет войн».

Нехотя я вспомнил мысль большого русского философа XIX века Константина Леонтьева, который, ужаснувшись от видения «упорядоченного муравейника», писал:

«Не ужасно ли и не обидно ли было бы думать, что Моисей восходил на Синай, что эллины строили свои изящные Акрополи, римляне вели Пунические войны, что гениальный красавец Александр в пернатом каком-нибудь шлеме переходил Граник и бился под Арбеллами, что апостолы проповедовали, мученики страдали, поэты пели, живописцы писали и рыцари блистали на турнирах для того только, чтобы французский или немецкий или русский буржуа в безобразной комической своей одежде благодушествовал бы «индивидуально» и «коллективно» на развалинах всего этого прошлого величия?.. Стыдно было бы за человечество, если бы этот подлый идеал всеобщей пользы, мелочного труда и позорной прозы восторжествовал бы навеки!» (По книге Бердяева «Константин Леонтьев. Очерк из

истории русской религиозной мысли», УМСА — Press, Париж 1926, стр. 86. Выделено у Бердяева).

О, тогда будут читать книги, будут играть на арфе, рассматривать картины (как в стихах Маяковского: землю распашут и напишут стихи) и все это вероятно будет прекрасно и воспитательно действовать, только жить в это время я не хотел бы. Борьба за социализм — дело хорошее, но социализм без борьбы — это кладбище. Это во время спора я и говорил Эренбургу, а он опять начал о том, что наука в один прекрасный день решит все, все и даже проблему скуки. А я утверждал, что нет ничего ужаснее науки, потому что, давая человеку *власть* над природой (всякое знание есть *власть*), она отнимает у него возможность *любви*, то есть отделяет человека от природы и изолирует его от нее стеной, а в этой изоляции человек становится смертным и рождается время. Когда между человеком и жизнью нет стены власти и войны — то нет больше и смерти, нет больше времени. Существует вечность. И вся наша наука все больше заключает человека в одиночную камеру знания и как раз осуществление упорядоченного муравейника, в котором больше не было бы борьбы, — а только лишь борьба разбивает оковы сознания и приводит человека в соприкосновение с жизнью, с сутью или, говоря религиозной терминологией, с Богом, — означало бы конечную энтропию, смерть жизни и человечества. И поэтому откровенный мистицизм гораздо более жизнен, потому что он признает за природой и за жизнью право быть тайной и открываться свободно, когда она сама того пожелает.

Я цитировал Толстого, который писал в 1884 году, что он убежден, что через несколько веков история так называемого научного труда наших прославленных последних столетий европейского человечества будет представлять неисчерпаемый источник смеха и печали для будущих поколений. В течение нескольких столетий ученые люди небольшой западной части европейского континента были охвачены всеобщим безумием,

воображая, что им принадлежит вечная блаженная жизнь и занимались вопросом: как и когда наступит эта жизнь? А никогда и не подумали о том, как свою жизнь сделать лучше.

Все это окончилось тем, что Эренбург сказал, что и он в молодости так думал, но что потом он стал умнее, а затем сказал, что я — тип фанатика, «такой же, как наши догматики, только если бы они стояли на другой идейной основе».

Так мы ни до чего не договорились. При прощании Эренбург был довольно сух и смотрел на меня сердито.

Странно, что именно он, который в гениальном «Хулио Хуренито» еще в 1921 году осознавал всю иллюзорность образа исторического процесса, сейчас внезапно серьезно уверовал в миф об упорядоченном муравейнике.

ЛАКШИН И СОЛЖЕНИЦЫН

Одного из редакторов самого значительного советского журнала «Новый мир», В. И. Лакшина, я посетил в редакции. Как раньше с Дудинцевым, так и с Лакшиным у меня произошла неудача. Мы сговорились на 17 а вышло так, что я пришел только в 19 часов. Дело в том, что до этого я был у Эренбурга, который пригласил меня на 16 часов, упомянув, что у него нет больше часа времени, так как он в тот же день уезжает на дачу. А благодаря спору посещение продлилось до 19 часов и я был вынужден дважды телефонировать Лакшину от Эренбурга, извиняясь и обещая, что приеду через несколько минут (редакция «Нового мира» находится в сотне метров от дома, где живет Илья Эренбург). И так я попал к Лакшину с громадным запозданием, а в таком большом городе, как Москва, ничто острее не осуждается, чем опоздание. Особенно же было мне неприятно это еще и потому, что Лакшин, как и многие другие

москвичи, летом живет на даче и ежедневно уезжает «электричкой» за город.

Благодаря опозданию, я имел возможность видеть двух Лакшиных. Одного сердитого, сухого и холодного и другого — через некоторое время — открытого, темпераментного и симпатичного.

Лакшин молодой человек — ему около 35 лет — с орлиным нерусским носом и с очень пронизательным взглядом из-за стекол очков. Он типичный интеллеktуал времен 1 интернационала.

Широкой популярности он добился только в этом году благодаря своей большой и важной статье «Иван Денисович, его друзья и недруги», опубликованной в «Новом мире» № 1 за 1964 год, в которой он взял под защиту и блестяще защитил Солженицына от участвовавших атак. На Лакшина после этого обрушилась почти вся советская печать. (О полемике в связи со статьей Лакшина я написал в «Деле» № 6 за 1964 год. — М. М.). Но, к счастью, кроме громких слов, на критика не обрушилось никаких других неприятностей.

— Сегодня нам, работающим в «Новом мире», никто ничего не может сделать административными мерами, — сказал он, — потому что атака на одного из нас одновременно означает атаку на всех редакторов журнала.

Это значит, конечно — атаку и на Твардовского, главного редактора. А, как известно, Твардовский сегодня — один из выдающихся людей не только в Союзе писателей, и у него есть возможность играть чрезвычайно положительную роль в процессе либерализации духовной жизни Советского Союза.

После статьи Лакшина о повести Солженицына и поднявшегося вокруг этой статьи шума молодой критик получал в день до 150 писем, в которых читатели хвалили его за смелость и солидаризировались с ним. На мой вопрос о том, почему эти письма не публикуют, критик ответил, что редакция журнала сознательно не

хочет локализовать полемику вокруг одного Солженицына.

— Когда нас атакуют, — сказал он, — мы, вместо того, чтобы защищаться, публикуем еще что-нибудь более острое и полемика постоянно перебрасывается с одного предмета на другой.

Необычайно интересен факт, который он мне сообщил: в СССР широко распространена пословица: «Скажи мне, как ты относишься к Ивану Денисовичу, и я скажу, кто ты».

Солженицын, по словам Лакшина, сейчас пишет дома, в Рязани, большой роман. И по мнению Лакшина — Солженицын это самое значительное явление в русской послевоенной литературе. Я рассказал ему о моей статье «Мертвый дом Достоевского и Солженицына», которая готовилась к печати в «Форуме»; он очень ею заинтересовался и я позже послал ему экземпляр журнала. Ему и члену редакции «Знамя» Льву Аннинскому. Ни один из них не получил журнала. Цензура, очевидно, все еще очень страдает подозрительностью.

АНДРЕЙ ВОЗНЕСЕНСКИЙ

Вознесенский в самом начале встречи меня удивил. Выяснилось, что он слышал обо мне уже год назад. Дело в том, что весной 1963 года я опубликовал в загребском «Веснике» статью о современной русской поэзии, в которой именно его оценил как наиболее обещающего из «молодых», а о намного старшем Леониде Мартынове сказал, что это самый большой из ныне здравствующих русских поэтов. Один приятель Вознесенского, журналист в ГДР, по телефону перевел ему мою статью. Значит, действительно — мир невелик.

Поскольку ресторан в Доме писателя в тот вечер по неизвестным причинам был закрыт, мы пошли в ресторан Дома актера — красиво и модно устроенный закрытый ночной ресторан, единственный в Москве рабо-

тающий до двух часов ночи. В этот ресторан нелегко попасть, но Вознесенского в Москве, очевидно, очень хорошо знают и швейцар нас сразу пропустил.

Вознесенский по профессии архитектор, но занимается исключительно литературой и, конечно вынужден делать также и переводы с языков многочисленных народов Советского Союза, переводы, которые зачастую лучше оригинала. Поэт выглядит очень молодо — почти как мальчик, хотя ему тридцать лет и, — нужно признать, — немного позирует, но поскольку он делает это с простодушной искренностью, его позирование не очень мешает. На сборнике, который он мне подарил, он подписался: «А. Вознесенский, Москва, XX век», а на мой вопрос, является ли он членом партии, ответил, что я, видимо плохо знаю и с т о р и ю современной русской литературы, так как не знаком с его заявлением (не помню уже на каком историческом собрании): «Как и Маяковский, я не член коммунистической партии».

В общем и целом он произвел на меня самое приятное впечатление. Несмотря на некоторую общую незрелость (именно о нем мне сказал Эренбург: «Андрюша все еще мальчик; сегодня поэты начинают карьеру в возрасте, когда Пушкин, Лермонтов, Есенин и Маяковский ее кончали»), меня удивил широкий интеллектуальный горизонт Вознесенского и его прекрасное знание современной западноевропейской литературы.

Мы говорили о Кафке, Джойсе, Т. С. Эллиоте, Симоне Вей, Тейере де Шардене и о многом, что для других советских писателей «terra incognita». Именно от Вознесенского я узнал, что «Процесс» Кафки уже находится в печати и что перевод сделан великолепно, что Т. С. Эллиота еще долго не будут переводить, что готовятся к печати собрания сочинений Пастернака, что «молодых» приняли в Союз писателей благодаря стараниям посредственного поэта, но прекрасного человека Щипачева, что Евтушенко и Рождественский уехали на Северное море, где проведут месяц на судне, и т. д. и т. д.

«Духовный отец» Вознесенского, конечно, Пастернак, с которым молодой поэт был в течение долгого времени лично знаком. Пастернак читал ему «Доктора Живаго» еще в рукописи. (Опять я вспомнил ехидное замечание Эренбурга: «Андрюша развивается в тени Пастернака. Это, без сомнения, хорошая тень, но все-таки тень. Кстати, когда началась травля Пастернака, Андрюша храбро молчал и не выступил в защиту своего учителя»).

До поздней ночи мы сидели в клубе актеров. Наша беседа прерывалась многочисленными приветствиями, — Вознесенского, судя по всему, знает вся «золотая молодежь» Москвы. И вообще, в то время как популярность Евтушенко постепенно уменьшается, все больше читают именно Вознесенского, и я не сомневаюсь, что в близком будущем он станет наиболее популярным поэтом среди студенческой молодежи и молодых интеллектуалов. Поэт — в большей степени интеллектуальный, чем эмоциональный, с типично *технической* формой поэтического *выражения* (не мышления!), по стилю близкой раннему Маяковскому и Пастернаку, идейно — антисоциалист, поэт, в котором больше эмоций вызывают предметы из нейлона, чем старые русские березки (это видно из его «40 лирических отступлений из поэмы о треугольной груше») — а именно это привлекает сегодня молодое поколение образованных людей великой страны.

На примере Вознесенского видно, насколько верно было пророчество Бердяева в двадцатых годах, когда русский философ писал, что в то время, когда наука и техника овладеют умами посредственностей, как раз наиболее талантливые люди из среды интеллектуалов повернутся в другом направлении, к новому мистицизму. Вознесенский мне с победным видом рассказывал о том, что известный советский математик и конструктор электронных машин Колмогоров в течение нескольких лет анализировал тексты и посылал своих ассистентов на вечера поэзии молодых поэтов, пытаясь отыскать «лингвистический ключ» стихосложения. Он намеревался

сконструировать электронную машину, которая «заменяла» бы разных поэтов. Конечно, повсюду он потерпел неудачу, кроме случая с поэтом Владимиром Хоровым — автором стереотипных соцпатриотических стихов.

Что касается Леонида Мартынова, Вознесенский со мной согласился: Мартынов сегодня действительно самый значительный из русских поэтов. В свое время он несколько лет отсидел в одном северном концлагере и впоследствии представлялся: «Леонид Мартынов, враг народа». Мартынов родился в 1905 году и стал печатать стихи сравнительно поздно, в 35 лет, он был, естественно, предан анафеме и стал известен широкой публике только в 1956 году, одновременно с поколением молодых поэтов — Евтушенко, Ахмадулиной, Вознесенским, Жирмунской и т. д. Его символическая поэма «Река Тишина», по моему глубокому убеждению, самое ценное произведение русской поэзии в период 1930–1956 годов. Из молодых поэтов, как и Дудинцев и Винокуров, Вознесенский отметил Новеллу Матвееву.

Согласны мы были и в отношении к русским классикам. Вознесенский любит Достоевского и не любит Горького.

Поэт намеревался прочесть мне отрывки из своей новейшей поэмы «Оза», которую он чрезвычайно ценит («Поверьте, Миша, за эту поэму я без размышления отдал бы свою жизнь»), но поскольку было уже слишком поздно, он только вкратце описал мне ее основные линии. Поэма представляет собой лирический дневник одного физика — исповедь его любви, найденную в номере отеля, а главная идея — борьба против «плохой», за «хорошую» технику. Позже, уже в Югославии, случайно однажды вечером слушая передачу радио «Юность», я слышал Вознесенского, читающего отрывки из этой поэмы. Впечатляюще звучал его голос, повторяя десятков раз: «Аве Оза...» — слова, с которых начинаются многие строки одной из частей поэмы. «Оза» — это анаграмма от «Зоя». Коротко: думаю что в поэме чувствуется немалая поэтическая сила и некоторое влияние сюр-

реализма, — так, пуля из груди Маяковского возвращается в револьвер, из которого застрелился поэт, и т. д. Вознесенский намеревался поместить поэму в журнале «Знамя», хотя и не был вполне уверен, что ее примут. Между тем развитие событий в Советском Союзе сегодня не ставит под сомнение возможности опубликования поэмы, это подтверждается и недавней передачей радиостанции «Юность».

ЗАГОРСК

В семидесяти километрах от Москвы находится городок Загорск, в котором находится знаменитая Троице-Сергиевская лавра — комплекс церквей и монастырей XIII века. Несмотря на то, что иностранцы не имеют права без разрешения отъезжать от Москвы дальше, чем на 30 километров, мой официальный гид мне разрешил съездить в Загорск. Сам он в это время был занят.

Среди живописной и буйной зелени небольшого городка (в котором, кстати сказать, человек нигде не имеет возможности присесть, чтобы написать открытку или отдохнуть, так как по советскому обычаю никаких буфетов или ресторанов не существует — люди не привыкли «терять время»), на возвышении, окруженная старинной крепостной стеной, лавра — десяток церковных куполов. Внутри самой лавры несколько зданий занимает Государственный антирелигиозный музей. В лавру приходят люди за несколько сот километров, и ее церкви всегда переполнены. Приезжают сюда и иностранцы. И именно антирелигиозный музей в гнезде церквей символизирует отношение власти к религии.

Конечно, существование музея, — демонстративно бросающегося в глаза в атмосфере лавры, — ни в коем случае не способствует обращению непросвещенных верующих в атеистов. Наоборот. Музей приводит в недоумение, вызывает возмущение и человеку хочется перед ним публично перекреститься, пусть даже в пер-

вый раз в жизни. Он в лавре — хвастливый представитель власти, и только содействует повышению авторитета «служителей культа», которые вынуждены сто раз в день проходить мимо него. Такое отношение власти к религии, то есть отказ от предоставления человеку права самому свободно определять, где истина, а где заблуждение, попрание свободы совести — усиливает и поддерживает всевозможные религиозные секты.

Советские газеты полны антирелигиозных статей, памфлетов, воззваний. В этом году ЦК КПСС уже собирал два совещания, посвященные борьбе с религией. Баптисты множатся и ежедневно открываются новые очаги секты, причем главным образом в рабочей среде. Конечно, в подобных ситуациях любое насилие только усиливает секты. Это и происходит в СССР, где трудно понять, кто бóльшие фанатики: религиозные сектанты или те «атеисты», которые против сектантов борются. Потому что — это заметил уже Андре Жид и, конечно, Николай Бердяев, — никакого атеизма в Советском Союзе никогда и не было. Атеизм — полное равнодушие к религиозному феномену. А эта непрекращающаяся фанатичная антирелигиозная борьба в СССР является доказательством чего-то другого; а именно, что у советской власти дело идет не об атеизме, а об *антиатеизме*. И борьба ведется кровавая. Несколько лет тому назад введен поистине иезуитский метод борьбы, так называемая «индивидуальная обработка» людей, о которых становится известным, что они верующие. К этим людям «прикрепляются» один или два человека, в чью обязанность входит непрерывное «просвещение» своего подопечного — на работе, в клубе и даже на дому. Психические истязания, таким образом, достигают кульминации.

Ильичев в этом смысле перецеголял Сталина. Во время второй мировой войны Сталин был вынужден допустить некоторую духовную свободу. На средства, вырученные от продажи в США церковных ценностей, были приобретены танки для двух дивизий, и до 1944

года, — когда Сталин уже полностью был уверен в победе и у него не было больше необходимости кокетничать с религиозными чувствами военнослужащих Красной армии, — на фронтах второй мировой войны двигались колонны танков с белыми крестами, входящих в состав двух дивизий — дивизии Александра Невского и дивизии Дмитрия Донского.

После войны антирелигиозное движение приняло еще большие размеры, чем между двумя войнами. Как известно, последние два года жизни Сталина были самыми мучительными в жизни Советского Союза. А между тем даже и Сталин не догадался ввести «индивидуальную обработку» верующих. Это изобретение последних лет. Весной этого года пленум ЦК КПСС принял предложение Ильичева о введении во всех средних школах и на всех факультетах обязательного предмета — атеизма. И тогда впервые — до этого времени верный партии — видный французский марксист Р. Гароди изменил Москве и от имени французской компартии выступил против Ильичева. «Католицизм с обратным знаком» «святой матери московской марксистской церкви» — налицо. Что все это не имеет никакой связи с религией, а что дело идет о попытке (к счастью, неудачной) уничтожения последних остатков свободы принятия решения человеком — доказывается как раз методами борьбы с религией.

Советские киоски переполнены самой вульгарной «атеистической» литературой. «Забавное евангелие», «Забавная библия». Журнал «Наука и религия» печатает самые дурацкие издевательства по поводу самой возможности существования свободы религиозной совести в человеке: «Есть ли бог?», «Этот лжец — Иисус Христос», «За стенами духовной академии» и т. д. Все это, во-первых, глупо. Во-вторых, — наполнено неприкрытой ненавистью. И, разумеется, результат получается обратный желаемому. В прошлом году «Комсомольская правда» сообщала о бегстве в монастырь из одной московской школы группы девушек из девяти человек. У

бедных девушек, наверное, старостой класса или преподавателем был какой-нибудь фанатичный «атеист-богоборец». Когда человек видит все эти глупости, то ему и самому хочется (назло) уйти в монастырь. Насильно с человеком ничего и никогда нельзя сделать. К счастью! Как говорит Николай Бердяев:

«Истина делает человека свободным, но человек должен свободно принять истину, он не может быть насильно, путем принуждения приведен к ней. Насильственное добро больше не добро, оно превращается в зло». (Н. Бердяев. «Миросозерцание Достоевского»).

РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ

Слушая величественное пение церковных хоров в лавре, я вспомнил, что здесь провел последние годы своей жизни Константин Леонтьев,^{*)} один из наиболее крупных, смелых и оригинальных русских умов всех времен. Менее известно то, что Леонтьев был очень талантливым писателем. (Его — известный в свое время — рассказ «Египетский голубь» мог бы свободно войти в антологию по советской литературе). Вспомнил я и разговор со Шкловским — мы говорили о том, что истоки русской философии остались совершенно неизвестными. Я удивил его сообщением о том, что у нас, на философском факультете в Загребе по программе кафедры студенты изучают Николая Лосского. На его родине о философе никто ничего не знает. Я говорил с большим количеством советских студентов, которые никогда не слыхали имени Владимира Соловьева! Они знали только о Бердяеве и о Мережковском, потому что против них все еще ведется полемика. И здесь мне пришло в голову, что Югославия могла бы сыграть громадную культурную роль, если бы, скажем, в издательстве «Матицы Хорватской» в прекрасном издании «фило-

^{*)} К. Леонтьев умер в Оптиной пустыне. В Загорске умер А. Розанов. — Прим. пер.

софских хрестоматий» тринадцатой книгой была бы выпущена «Хрестоматия русской философии».

Потому что, к сожалению, все русские философы — от Константина Леонтьева, Николая Федорова, Владимира Соловьева, Аполлона Григорьева («бергсонианца» за несколько десятилетий до Бергсона), Николая Данилевского (в известной книге «Россия и Европа» он -- предтеча Освальда Шпенглера) до Василия Розанова, Николая Лосского, Ивана Ильина, Владимира Эрна, С. Франка, Георгия Флоровского, Василия Зеньковского, Густава Шпета, Сергея Булгакова, Петра Струве, Николая Бердяева и Льва Шестова — находятся все еще в «черном списке». А поскольку — кроме Чернышевского, Плеханова, Ленина и Луначарского — в России никогда не было больших философов-марксистов (единственно признаваемых), то выходит, что у самого большого славянского народа вообще нет никакой философии.

Между тем, подлинная русская философия — глубоко персоналистическая, антимеханистическая и во многом апокалиптическая (в лице Шестова, Бердяева, Розанова) — оказывает сегодня влияние на большую часть современной западной мысли. А мы, дети славянской страны, узнаем о существовании оригинальной русской философии — с Запада! (я вспоминаю, с каким неприятным чувством я установил, что в библиотеке Матицы Сербской в Новом Саду многочисленные книги Бердяева — причем изданные в Париже в недавнее время — лежат неразрезанными!).

Самое интересное то, что не исключена возможность реабилитации русской философии под давлением не «снизу», а «сверху», причем благодаря международному положению. Дело в том, что Владимир Соловьев, Данилевский и многие другие русские философы всегда предсказывали, что в XX веке произойдет конфликт России с Китаем. Владимир Соловьев в своей известной книге «Три разговора. О войне, прогрессе и конце человеческой истории» (С.-Петербург, изд. «Труд» 1901 г.),

а также в знаменитой «Притче об Антихристе», обширно излагает причины неминуемого столкновения между двумя великими нациями.

В определенный момент, в целях мобилизации национальных чувств, советская власть, возможно, призовет и Владимира Соловьева, и Бердяева, и других оригинальных русских мыслителей, как Сталин во второй мировой войне открыто призывал св. Дмитрия Донского и св. Александра Невского — которые в первые послереволюционные годы подвергались анафеме, как символы русского православного самодержавия.

(Кстати — я сравнивал некоторые русские журналы второй половины XIX века с современными. Поражает спад духовных и интеллектуальных сил, спад человечности в течение этих ста лет! А между тем, осознание этого спада чрезвычайно полезно. Так начинается каждое возрождение!)

АНТИСЕМИТИЗМ

Без сомнения, в СССР существует сильное давление антисемитских сил. Россия в этом постоянно была впереди, хотя этот факт почти всегда замалчивается, что, конечно, ни в коем случае не излечивает болезни. Когда в начале этого года западноевропейская печать громогласно сообщила о появлении типично антисемитской брошюры Т. Кичко «Иудаизм без прикрас» (Киев, 1963 г.), в Советском Союзе многих людей это очень удивило. Известно, что в Октябрьской революции принимало участие большое количество евреев, из которых самыми выдающимися были Троцкий, Каменев, Зиновьев, Радек, Свердлов и др. Фашистская пропаганда всегда отождествляла «большевиков» и «жидов».

Поэтому появление антисемитской брошюры в самой крупной социалистической стране показалось непосвященным людям невероятным.

Между тем, мало известен факт, что, Сталин, как

и Гитлер, уничтожал евреев, хотя никогда этого не делал открыто.

Известно, что многие евреи — коммунисты, эмигрировавшие из Германии в СССР после прихода к власти нацистов, в 1939 году, после заключения советско-германского пакта о ненападении, были переданы гестапо. Во время чисток в довоенные годы большое количество евреев исчезло в сибирских концлагерях по обвинению в так называемом «сионизме». Одновременно был закрыт известный еврейский театр в Москве, ликвидирована еврейская типография и прекращена крупная издательская деятельность на идиш.

Мало известно отношение сталинского бюрократического аппарата к евреям во время второй мировой войны. Во время эвакуации занимаемых немцами территорий евреям планомерно не выдавали разрешения на отход с Красной армией. А каждого, кто бежал от немцев без разрешения на эвакуацию, расстреливали. Таким образом русские евреи очутились между двух огней. Как сообщает Григорий Климов в своей — переведенной у нас с десятков лет тому назад — книге «Берлинский Кремль», в 1941 году таким образом погибло несколько десятков тысяч евреев, во время подхода танков Гудериана к самой Москве, когда началась всеобщая эвакуация столицы.

За последние два-три года перед смертью Сталина антисемитизм все усиливался, и только благодаря исчезновению «мудрого вождя» приблизительно у двадцати московских врачей-евреев остались головы на плечах. Дело в том, что их обвинили в «попытке отравления» советских руководителей. Они живут сейчас в Москве.

Один из выдающихся московских культурных деятелей рассказал мне: несмотря на то, что он окончил среднюю школу с золотой медалью в 1952 году, из-за своего еврейского происхождения он не смог поступить в Московский университет, а вынужден был ехать учиться в провинцию.

— Самая большая наша трагедия в том, — сказал он мне, — что мы чувствуем себя русскими.

Сегодня подобный случай не смог бы повториться, хотя на каждом шагу встречаются «еврейские анекдоты», в которых обычно в конфликт входят «коммунист и еврей», — для привычных понятий нелогичное столкновение.

В первый же день моего пребывания в СССР мне пришлось испытать на собственной шкуре наличие антисемитских настроений. Когда в Чопе — советской пограничной станции — белградский вагон прицепили к советскому поезду, я несколько раз прошелся по всему составу, рассматривал вагоны и пассажиров. Когда я проходил через вагон-ресторан, один из сидящих за столом пассажиров что-то громко произнес, но только когда я прошел во второй раз я понял, что это относится ко мне. Подвыпивший мужчина средних лет заметил мне вслед: «вишь, жидок шляется». Я был настолько поражен, что чуть было не подошел к нему и не начал объяснять, что я не еврей, что мой дед — кабардинец, а родители — врангелевские белоэмигранты. К счастью, я этого не сделал.

ПСИХОЛОГИЯ «ГОМО СОВЕТИКУСА»

Какое счастье, что все энтузиасты — покойники! Иначе им пришлось бы видеть, что их дело ни на шаг не продвинулось, что их идеалы остались идеалами и что недостаточно разнести Бастилию по камням, чтобы из скованных арестантов сделать свободных людей.

Герцен

Советская психология существует. Это психология людей, отождествляющих себя со всей историей Советского Союза, со всеми идеями, движущими (или иногда тормозящими) жизнь Советского Союза. Этих людей

человек встречается, главным образом, в составе разных советских делегаций, в Интуристе и т. д. Между тем, «гомо советикуса» не следует полностью идентифицировать с членами КПСС. 8 миллионов членов КПСС ни в коем случае не являются поголовно «гомо советикусами». Их немалый процент и среди беспартийных, хотя, конечно, среди членов партии процент выше. Самое членство в КПСС — организации, которая лишена какого бы то ни было демократического начала и без слова проводит в жизнь распоряжения «верхушки», распоряжения (с тех пор как партия у власти) более или менее жандармского характера, — требует от людей — не скверных, но слабых, — чтобы они искренне верили во все бессмыслицы верхушки. Согласно утверждениям этой верхушки, например, в истории СССР до настоящего времени не было ни одного руководящего лица, которое, как это устанавливалось впоследствии, не было бы «капиталистическим наймитом», «предателем», соучастником одной из многочисленных «антипартийных» группировок и т. д., начиная, конечно, с «антинародного» Сталина.

Первой характерной чертой «гомо советикуса» является одобрение и принятие любого решения руководства. Причем — искреннее одобрение. Второй — наивное и неосознанное иезуитство того типа, как его изобразил Достоевский в облике Эркеля — одной из эпизодических личностей «Бесов» — честного, чувствительного и приятного в личной жизни человека, но способного на самые большие подлости во имя «высшей идеи»:

«Исполнительная часть была потребностью этой мелкой, малорассудной, вечно жаждущей подчинения чужой воле натуры, — о, конечно, не иначе как ради «общего» и «великого» дела. Но и это было все равно, ибо маленькие фанатики, подобные Эркелю, никак не могут понять служения идее иначе, как слив ее с самим лицом, по их понятию, выражающим эту идею. Чувствительный, ласковый и добрый Эркель, быть может, был самым бесчеловечным из убийц, собравшихся на Шатова, и безо

всякой личной ненависти...» (Достоевский, «Бесы», часть 3, глава V).

Конечно, XX съезд внес много положительного как раз тем, что он порвал нить, на которой в течение трех десятилетий психически держалась определенная система. Но так же как Сталин не один виноват в сталинизме, так и XX съезд не в силах был уничтожить всех тех многочисленных эркелей, которые только и ждут, чтобы поклониться какому-нибудь божеству. Не подлежит сомнению, что сталинизм был лишь материализацией психических потребностей миллионов эркелей, для которых свобода личного решения в каждую минуту жизни в полном смысле слова ужасна, тяжела, невозможна и которые из-за плебейства своего духа не могут существовать без «хозяина». Быть субъектом слишком тяжело. Легче — объектом. Слишком тяжело — личностью, легче — коллективом! Слишком тяжело нести за все ответственность — легче объявить, что человек подчинен естественным «законам» развития общества.

Первое впечатление, которое оставляет «гомо советикус» — незрелость. Именно наивная способность верить даже в собственную ложь, сознательное отбрасывание всего того, что обличает эту ложь, психическое и теоретическое оправдание самой низкой подлости во имя «высших целей» — все это составляет психологию среднего «гомо советикуса». Наивно предполагать, что какая бы то ни было тирания когда-либо держалась на подлецах. Носители любой, даже самой страшной диктатуры — это честные фанатики. Сознательных подлецов всегда необыкновенно мало и они никогда не приносят столько зла, как честные фанатики.

К сожалению, общественная система в Советском Союзе до сих пор способствует развитию именно эркелей — начиная с песенок, которые постоянно обращаются к «ребятам»; со школьной системы с насильственным воспитанием так называемого «духа коллективизма», то есть с уничтожением всякой индивидуальной

собственной личности в ребенке (что часто обсуждают и о чем пишут в последнее время в советской печати); с унификацией духа (уже начиная с пионерской организации!). И все это при открытом восхвалении того, как это хорошо ничем не отличаться от массы, по советской терминологии — «народа» (это самая большая ложь — масса не народ! Пушкин народ, а «масса» не народ). То же самое в колхозах, на фабриках и т. д., где повсюду насаждается «дисциплина» — «распоряжение — выполнение» — изгоняется любая личная инициатива.

Конечно, положение по сравнению с тем, что было до 1956-1957 года, сильно улучшилось и далее улучшается, но каждый новый успех прогрессивных сил оплачивается большими жертвами и сопровождается мучительной борьбой. Еще до сих пор проявленная по личной инициативе, а не спланированная «сверху» деятельность — какой бы полезной она ни была — осуждается, потому, что нет большего греха, чем поступок, не запланированный заранее. Доходит до невероятных абсурдов. Так, в прошлом году советские газеты часто печатали на видном месте статьи о том, что в Москве необходимо организовать продажу цветов, так как цветы — это никакой не «буржуазный» товар, а вполне соответствует «пролетарским взаимоотношениям» между людьми. В конце концов было объявлено, что какой-то комитет Моссовета рассмотрит этот вопрос и вынесет решение. Не знаю, каково было решение, но факт, что об этом необходимо проводить широкую дискуссию на первых страницах советских газет, говорит сам за себя.

На самом деле сегодня нет в мире более консервативного общества, чем советское, потому что малейшая перемена — начиная с нового галстука, песенки или ширины брюк — вызывает громадное противодействие.

Но XX съезд нанес «гомо советикусу» смертельный удар. Молодое поколение, а главным образом, студенческая молодежь глубоко и болезненно ощущают всю абсурдность централизованного этатизма и не удов-

летворены медленным темпом либерализации. Это неудовлетворение даже переходит в другую крайность, в абсурд. Так, один студент МГУ, говоря мне о том, что в СССР не уважают личность, со злобой рассказывал о том, что, когда советские радиостанции транслируют легкую музыку, то дикторы объявляют название вещи только после нескольких тактов, и невозможно записать на магнитофон всю вещь без голоса диктора. Конечно, в этом случае дело не в неуважении личности, а в эффекте трансляции. Но симптоматично здесь то, что «молодые» бескомпромиссно осуждают любое покушение на права личности. Большой популярностью пользуются стихи Роберта Рождественского «Родине», напечатанные в «Правде» (от 16 декабря 1962 г.):

Мы уже не скажем:

кто-то

думает

за нас! —

Мы узнали

Чем это кончается!..

Гёте в свое время написал, что нет худшего правления, чем патернализм. К сожалению, века царского самодержавия и десятилетия сталинизма оставили страшное наследство — безграничный патернализм! «Царь-батюшка» — отец народа, а простой человек — ребенок. Эти понятия подсознательно создают психологический базис для «гомо советикуса». Отсюда и этот «отцовский» и «материнский» страх, чтобы дитя не соблазнили, забота о том, чтобы оно читало не что ему хочется, а то, что «воспитывает»; отсюда этот животный страх перед либерализмом и неверие в человека (а каждое неверие в другого есть последствие неверия в самого себя!), уверенность в том, что без «родительской заботы» и «водительства» он пропадет. Один юноша на мой вопрос о том, почему все рестораны открыты только до половины одиннадцатого, иронически ответил:

— Правительство заботится о нашем здоровье.

По-видимому, предвидя нечто подобное на своей родине, Лев Толстой писал:

«Воспитание, как планированное формирование людей по определенным идеям, незаконно и невозможно. Воспитание портит, а не исправляет людей. Чем более испорчен ребенок, тем менее его нужно воспитывать, тем больше ему необходима свобода... Не бойтесь: человеку не вредно ничто человеческое. Сомневаетесь? Следуйте свободно за своими чувствами, отбросьте все заключения разума — и чувство вас не обманет. Поверьте его природе»*).

Но все напрасно. Как говорит Лев Шестов: если бы истина была написана даже на каждом углу крупными буквами — тот, кому не дано ее прочесть, ее не заметил бы.

Для «гомо советикуса» совершенно немислимо и абсурдно, что кто-то в мире может опубликовать в газетах свое собственное мнение, не соответствующее «официальной программе» в среде, в которой он живет. Немислимо, что кто-то может признать за другим право на свободное решение, поскольку он сам в состоянии самостоятельно определить, что такое свободное решение. Убеждение, что никакой демократии никогда не было и быть не может (потому что без «строгой отеческой заботы» мир погиб бы), настолько глубоко, что приводит к невероятным бессмыслицам. Вот цитата из книги Е. Кольмана «Есть ли бог?»:

«А в капиталистических странах и в настоящее время преследуют ученых, которые не верят в Бога. В Соединенных Штатах богачи-миллионеры, которые там заправляют, распространяют по всему миру сказку об американской «свободе мысли» и одновременно лишают куска хлеба и преследуют тех преподавателей, которые обучают истине о происхождении земли, жизни и человека. Там бывает даже, что публично сжигают научные труды» (Кольман, «Есть ли бог?». «Молодая гвардия», Москва, 1958, стр. 33).

*) Обратный перевод. — Прим пер.

Именно поэтому маккартизм и американская «охота на ведьм» только усиливают и поддерживают патерналистические, сталинские силы в советской стране. Против лжи нельзя бороться ложью. И каждое зло только усиливает другое зло.

В психологии «гомо советикуса» существует сильный оттенок плебейства и отсутствует духовный (не биологически-социальный) аристократизм. К «вождю» он относится как влюбленный слуга, а это сказывается во всех областях жизни. Полное неверие в собственное мышление, потребность в руководстве или в совете специалиста — это, одновременно, и корень нынешней слепой веры в науку, которая знает лучше нас даже то, как опать с собственной женой, как дружить с коллегами, что в действительности мы сами желаем и т. д.

Крупный современный американский марксист Эрих Фромм пишет:

«Утверждение, что проблемы слишком запутаны для того, чтобы их понял средний человек, является своеобразной дымовой завесой. Наоборот, очевидно многие основные спорные вопросы, настолько просты, что следует ожидать, что каждый их поймет. Допущение, что они выглядят настолько запутанными, что только «специалист» и то лишь в ограниченной области, может в них разобраться, на самом деле равносильно стремлению к уменьшению возможности человека опираться на способность самостоятельного суждения о действительно важных проблемах... Индивидуум ощущает себя беспомощным, пойманным и запутавшимся во множестве данных и с патетическим терпением ждет, когда специалисты откроют ему, что делать и куда идти» (Эрих Фромм, «Бегство от свободы», Белград, изд. 1964, стр. 227).

Несомненно, каждый раз, когда человек переносит ответственность за свои поступки на другого, он облегчает свое существование. Но наказание за это неминуемо.

«Всякая стадность — прибежище недаренности, все равно верно ли это Соловьеву, или Канту, или Марксу. Истину ищут только одиночки и порывают со всеми, кто любит ее не-

достаточно» — писал Борис Пастернак в своем известном романе.

И еще:

«Главное несчастье, корень будущего зла, была потеря веры в ценность собственного мышления».

Самая потрясающая отличительная черта души «гомо советикуса» — это внутреннее, психическое оправдание насилия и лжи. Насилие и ложь — во имя любви, как это бывает у родителей во имя любви к детям. Но ничто в мире не принесло больше зла, чем зло во имя любви. Дьявол лукав — говоря библейским языком. Чистая цель оправдывает грязное средство. Отсюда *психическое* оправдание установления института тайной полиции. В здоровом обществе, сама структура которого предусматривает любую откровенную и открытую критику и оппозицию, установление института тайной полиции было бы бессмыслицей. Отсюда и страх перед общественностью.

Любая дискуссия и любая полемика, проводимые в советских газетах и журналах, более или менее организованы. Наличие более серьезных проблем, о которых хранят молчание, доказывается громадным количеством анонимных писем, получаемых редакциями советских газет (Недавно «Комсомольская правда» обрушилась на авторов этих писем).

У «гомо советикуса» нет ощущения исторического прошлого. Как будто мир появился вчера. Все, что было до 1917 года, не только неважно, но и неинтересно. Какие-то там средние века, какая-то там эпоха Возрождения, какие-то философы... Воодушевление техникой, детская вера в то, что только современная «наука» приносит счастье человечеству и что она обязательно решит все противоречия (как только откорет все законы природы), создает глубокое убеждение в том, что все немарксистские мыслители (включая сюда и Эрнеста Блоха, Люсьена Гольдманна, Эриха Фромма и т. д.) — или наймиты капитала или аморальные идиоты. Все

это обуславливает какую-то совершенно незрелую психическую конституцию «гомо советикуса».

Удивляет безличность носителя этой психической конституции. «Человек массы» — как говорил большой философ Ортега и Гассет (Хозе Ортега и Гассет. «Восстание масс», Загреб, 1941 год). Все одинаковы. По выражению лица сразу видишь, с кем имеешь дело. Но должен признаться, что среди студентов ни одного такого человека я не встретил. Хотя один итальянец, обучавшийся в Москве, утверждал, что и среди студентов их немало.

Эта интеллектуальная «невинность» сперва кажется забавной, но через некоторое время невыносимо утомляет. Когда вы узнаете, что ваш собеседник глубоко убежден, что Мах и Авенариус — последние и самые крупные достижения «буржуазной философии», что в XX веке не было крупных французских писателей, кроме Барбюсса и Арагона, что Бергсон и Фрейд — заядлые реакционеры и мракобесы (о Кьеркегоре обыкновенно никто не слышал); когда в разговоре с историком узнаете, что он никогда не читал Освальда Шпенглера и т. д. — вас охватывает отчаяние. Молодому поколению придется вести тяжелую борьбу, чтобы расчистить эти духовные заросли.

С другой стороны, — как бы парадоксально это ни звучало, — рабское преклонение перед Западом. Правда, это две стороны одной и той же медали, и в следующие два-три столетия мы, вероятно, снова будем свидетелями конфликта новых «славянофилов» и «западников», как в прошлом веке.

Симпатичный московский юноша Юра Зуев, работник «Интуриста», рассказывая о нечестном поступке одного иностранного студента по отношению к девушке, сказал, что это «не европейский поступок». Одна девушка мне с завистью рассказывала, что ее начальник иногда ездит «в Европу». Всевозможные заграничные предметы — в громадной цене, и на улицах вас оста-

навливают и спрашивают про различные части туалета: не продадите ли? Экскурсия «в Европу» — недостижимая мечта. Разрешение, «путевка», несмотря на ее сравнительно небольшую цену, доступны лишь избранным.

А как обстоит дело с теми людьми, которых нельзя охарактеризовать как «гомо советикус»?

Однажды мне пришлось быть свидетелем интересного происшествия на Красной площади. Мой гид Олег Меркулов и я стояли, намереваясь сделать несколько снимков Василия Блаженного. Внезапно к нам подошел худой и очень бедно одетый человек лет пятидесяти, с напряженными измученными глазами и дрожащим от злобы голосом сказал моему гиду, в руках у которого был фотоаппарат:

— Что, меня фотографируешь? Не надо — вы меня, гады, уже и так добились!

Смущенный Олег начал его разубеждать, человек отошел, махнув рукой.

Однажды в парке им. Горького я видел следующее: перед кассой павильона для танцев стояла большая очередь — около двухсот человек. Из зала вышел мужчина — по-видимому, заведующий этим увеселительным объектом — и, обращаясь к людям в конце очереди, начал говорить, что нет смысла ждать здесь, в то время как всего в ста метрах отсюда есть еще один павильон, где нет толчеи и где играет отличный оркестр под управлением «кремлевского капельмейстера». В ответ на это несколько молодых людей, стоявших в очереди, на вид рабочие, начали смеяться.

— Ну, если под кремлевским руководством, то значит, ничего он не стоит.

Другие, стоявшие в очереди, ухмылялись, но отворачивали головы от этих юношей.

И в Москве и в Ленинграде мне рассказывали о выступлении студентов одного технологического института в Ленинграде в 1956 году, во время Венгерского вос-

станции. Студенты пришли к бывшему Зимнему дворцу — сейчас Эрмитажу — и кричали:

— Руки прочь от Венгрии!

Конечно, они исчезли из института и из города.

«Гомо советикус» отличается от других людей своим отношением к существующей действительности, его очень легко опознать, как только он произнесет несколько слов. О чем бы ни начался разговор — об отсутствии планов Москвы (планы появились в киосках только на седьмой день после моего приезда), о полетах в Космос, о жилищном строительстве, — «гомо советикус» всегда скажет:

— Мы не напечатали достаточное количество планов, мы летали в Космос, мы построили...

Обычно же люди говорят:

— Они не напечатали планов, они отправили в Космос, они построили квартиры...

«Мы» и «они»!

Обыкновенно жителю великой страны больше всего мешает следующее:

1. Административное прикрепление колхозника к земле. Без паспорта крестьянин не может уйти из колхоза. Поскольку уровень жизни у колхозника намного ниже уровня жизни даже самого низкооплачиваемого фабричного рабочего, то без административных мер колхозы бы опустели. «Крепостное право!» — сказал мне один студент.

2. Громадная разница в заработках. В то время, как неквалифицированный рабочий за свой месячный заработок (около 60 руб.) может купить всего-навсего две пары обуви, крупный специалист, административный работник, директор за свои 500-600 рублей в месяц может купить два телевизора.

3. Школы закрытого типа. После школьной реформы 1959 года, — когда было вынесено решение о том, что все ученики обязаны отработать 2 года в промыш-

лености или в сельском хозяйстве, — введены так называемые школы закрытого типа. Говорят, что в Москве четыре таких школы; есть они и в других больших городах. В этих школах преподавание ведется одновременно на трех европейских языках, на очень высоком уровне, и официально в них принимают особо одаренных детей. На самом же деле — детей из привилегированных слоев общества.

4. Долгий срок службы в армии: 3 и 4 года.

Боятся ли люди войны? Должен признаться, что меня удивило равнодушное отношение всех, с кем я встречался, и к возможной войне и к конфликту с Китаем. «Жить так скучно» — сказала мне молодая ленинградка.

Массовая текучесть рабочей силы вызвала необходимость введения трудовых паспортов (как раз сейчас их вводят), в которых будет отмечен каждый переход с одного места работы на другое и которые сделают возможным контроль и принятие мер против текучести рабочей силы.*) Уже, к счастью, не в силе драконовские законы периода перед Второй мировой войной, когда рабочих за несколько неоправданных неявок на работу могли сослать в концентрационный лагерь.

Вне сомнения, до тех пор, пока вся система хозяйства не переориентируется на «материальное стимулирование» — вся эта фразеология, уже в течение полувека «подымающая трудовой энтузиазм масс», остается бессмысленной. Как раз сейчас делаются попыт-

*) Трудовые паспорта так и не были введены и шумиха о них полностью заглохла с того времени — очевидно из-за сильного сопротивления, которое этот проект встретил среди трудящихся страны. — Прим. пер.

ки покончить с планированием в сельском хозяйстве. Но, конечно, это только самое начало.

Вообще же, вопреки словам Евтушенко, высказавшим удивление, что после всего того, что десятилетиями происходило в стране, русский народ не сделался циничным, — я должен сказать, что часто при встречах с людьми меня удивлял именно цинизм определенного оттенка. Так, один студент с усмешкой сказал мне:

— Ах, и вы хотите посмотреть на ленинские мощи?

Второй, показывая на толстенную книжищу «История КПСС», сказал:

— Видите, готовлюсь к экзамену по ленинской религии.

Такое же впечатление оставляют бесчисленные анекдоты по любому поводу, которые рассказывают совсем открыто. Вот, например, один из них:

«Войны не будет, но мы будем так бороться, так бороться за мир, что не останется камня на камне».

В ответ на наивную ложь, в которую искренне верит средний «гомо советикус», молодежь отвечает фанатической ненавистью ко всякой, даже самой малой, лжи как в общественной, так и в личной жизни. Советская печать об этой характерной черте молодого поколения пишет с покровительственным, одобрительным смешком, за которым ощущается: «Ну, да, молодо — зелено». Нехотя я вспомнил Пастернака:

«Невозможно изо дня в день без последствий для здоровья молчать о том, что думаешь и чувствуешь, делать вид, что радуешься тому, что приносит несчастье. Наша нервная система не пустой звук, не вымысел» («Доктор Живаго»).

А двусмысленности и неискренности в повседневной жизни советского человека бесконечно много. Главная двусмысленность: Сталин и сталинизм осуждаются, а большинство идей, определяющих до сих пор понимание жизни и духовные позиции, созданы во время Сталина и самим Сталиным — от «соцреализма» до колхоза. И ясно, что Советский Союз вынужден будет или

десталинизироваться в несравнимо большей мере, чем сейчас, или колесо истории повернется к открытой сталинщине, и целый период, начиная с 1956 года, будет объявлен «предательством». Но это мало вероятно, несмотря на то, что Хрущев не пользуется большой симпатией в народе. Одни считают, что он все еще слишком сталинец и вспоминают его деятельность во время Сталина, когда именно Хрущев вместе с Ежовым проводил чистку на Украине — во время которой расстрелян, наряду со многими другими, и секретарь ЦК КП Украины Косиор, которого Хрущев сегодня так великолепно реабилитирует. Другие — более старый сорт «гомо советикуса» — считают, что Хрущев губит «дело коммунизма». Это сталинцы, которых еще много, причем даже и среди 20-25-летней молодежи. Одна двадцатидвухлетняя москвичка говорила мне:

— И хорошо делал, что убивал. Он гадов убивал!

Появляется и совершенно аполитичная, мещанская интеллигенция, вернее полуинтеллигенция — армия техников, которых интересует только материальный достаток. Вероятно, в близком будущем именно эта техническая и технократическая группировка будет играть все большую и большую роль в жизни Советского Союза. Именно к ним обращается Хрущев, когда говорит о поднятии жизненного стандарта на более высокий уровень. Потому что — как это ни звучит парадоксально — средние, обыкновенные русские люди, несмотря на то, что жизненный уровень все еще очень низок (процентов на 40 ниже югославского), не считают, что самое большое зло — материальная бедность.

Вспомним Достоевского:

«Попробуйте построить дворец. Поместите в него мрамор, картины, золото, райских птиц, висячие сады, все, что только существует... И войдите в него. Может быть вы никогда и не пожелали бы из него выйти. Может быть вы и на самом деле не вышли бы! Все есть! Зачем искать «от добра добра»? Но внезапно — предположим! — вокруг вашего дворца кто-то выстроил ограду, а вам сказал: все это твое, наслаждайся, но не смей

отсюда сделать ни шага! И будьте уверены, что в ту же минуту вы пожелали бы покинуть ваш рай и шагнуть за ограду. Не только это! Вся эта роскошь, все богатство еще усиливает ваши страдания. Именно эта роскошь будет вас оскорблять... Да, только одного нет: свободы!» (пропущенный отрывок из «Записок из мертвого дома». По книге «Ф. М. Достоевский — статьи и материалы» под ред. А. С. Долинина, изд. «Мысль». Петроград 1922 г.)*).

Прежде всего низкий стандарт жизни не считают главным злом молодые люди, с жадностью стремящиеся подняться «на Голгофу» ради великой идеи, которой, между тем, больше не существует. Павел Корчагин боролся за «рай на земле», а не за «высокий стандарт». Именно потому, из-за отсутствия «хлеба духовного», и происходит рост различных религиозных сект. Власть пытается направлять психический потенциал молодых на завоевание и культивирование Сибири или на освоение Космоса, но в настоящее время ей это не удастся. Только китайская угроза, может быть, мобилизует духовные силы русского народа. Между тем, до сих пор еще этой опасности никто реально не ощущает.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

«Оттого и разные веры, что людям верят, а себе не верят. И я людям верил и блудил, как в тайге... Значит, верь всяк своему духу, и вот будут все соединены. Будь всяк сам себе, и все будут заедино».

Л. Толстой, «Воскресение»

«Я был настроен очень революционно, но сейчас думаю, что насилием ничего нельзя сделать».

В. Пастернак, «Доктор Живаго»

*) Обратный перевод. — Прим. пер.

Советский Союз стоит перед грандиозными переменами. 1956 год был лишь первой волной. От многого, что происходит сегодня в СССР, зависит судьба не только человечества, но и самой жизни на земле. Поэтому все, что происходит в великой стране, привлекает такое внимание мировой общественности.

Между тем, именно опыт Советского Союза показывает, что решение кризиса современного человека находится не в политической, не в социальной и не в экономической сферах, а гораздо глубже, в экзистенциально-космическом кризисе личности, в метафизических глубинах человеческой индивидуальности. Языком религиозного человека — в потере Бога. Марксистским языком — в отчужденности, а это значит в одиночестве отдельного человека, которое в тоталитарном (насиленно, механическим путем соединенном) обществе ничуть не меньше одиночества в капиталистическом, раздробленном мире. С одной стороны — бесконечное множество раздробленных индивидуальностей без какой бы то ни было связи между собой. С другой стороны — механизм, в котором эти индивидуальности еще больше замкнуты в самих себе. Мир Кафки. В движущейся машине жизни не больше, чем в неподвижном предмете!

Парадокс, между тем, заключается в том, что человек упрямо жаждет выйти из одиночества, а каждое насильное объединение только лишает его этой возможности. Поэтому десталинизация, разрушение механизма открывает путь к свободному общению людей. Не к контракту, а к контакту.

Именно поэтому сталинщина не только политическая, а в первую очередь религиозная проблема (как и гитлеризм). Отсюда она и получила совершенно точное наименование — «культ». Ведь самое существование Советского Союза разрушило все теории о том, что экономическая база, развитие производственных сил определяют идеологию. Вот уже скоро полвека как идеология, или так называемая «надстройка» обуславливает в Советском Союзе и экономические отношения, и об-

щественные отношения и т. д. Потому что людей никогда не вело в бой стремление к экономическому благосостоянию, а одна только жажда «хлеба духовного» — как первых христиан, так и русских революционеров, погибших ради установления «правды на всей земле, причем в кратчайший срок», а не ради высокого стандарта жизни. И гитлеровцы завоевывали мир и умирали на фронтах Европы и Африки не ради экономических выгод после войны, а ради идеи «тысячелетнего рейха».

Именно поэтому СССР, — как и весь остальной мир, — находится на большом и значительном распутье. Старая руководящая идея, дававшая людям «хлеб духовный», идея о «земном рае» — потеряла движущую силу. Не потому, что она неосуществима, а наоборот — потому, что во многом уже обрисовываются контуры экономически и социально справедливо организованного общества, но которое тем самым не дает «хлеба духовного». Все благосостояние справедливо организованного общества имеет смысл только тогда, когда оно служит средством для чего-то, а не целью, когда оно не является благосостоянием ради благосостояния.

Отсюда такое помутнение духа. Ткань, связывавшая (если не для всех, то для фанатиков механизма) жизнь, распалась. Сегодня осталось лишь одно — понятие высокого стандарта жизни. Несомненно, что в этом — путем принятия многочисленных мер по децентрализации сельского хозяйства и промышленности в Советском Союзе будет рано или поздно достигнут успех. Но как раз тогда станет на очередь существенная проблема — а что дальше? Потому что человек никогда не может удовлетвориться тем, что он в этом Космосе рожден «просто так» и что единственная цель в его жизни — жить зажиточно. В этом слабость хрущевской идеологии.

Вне всякого сомнения приближается новая, третья революция, которую предвидел еще Маяковский, — революция в духовных сферах. Марксизм, конечно, оста-

нется еще долго как *наука об обществе*, но человеческие души будут охвачены новыми духовными движениями. Угроза со стороны азиатских народов, без сомнения, ускоряет процесс формирования новой идеологии. По нашему мнению, это будет какая-то разновидность активного *персонализма* («социалистического» или христианского — это к делу не относится!) и в этом громадную роль сыграет классическая русская философия — Соловьев, Шестов, Бердяев. Я считаю, что говоря о великом будущем России и ее идеологии, Шпенглер был полностью прав.

Однако многое еще тормозит разрушение механизма. Рассмотрим — что и почему.

В 1933 году Николай Бердяев в своей известной книге «Истоки и смысл русского коммунизма» писал:

«Эта новая советская бюрократия, более сильная, чем бюрократия царская, есть новый привилегированный класс, который может жестоко эксплуатировать народные массы. Это и происходит». (УМСА — Press. Париж, 1955, стр. 105).

По нашему мнению, эта мысль сегодня уже не соответствует действительности. С 1956 года произошло много перемен в рядах власти, а что они все еще происходят доказывает происходящая в настоящее время большая антисталинская чистка (о чем свидетельствует вся западноевропейская печать).

Процесс десталинизации продвинулся уже довольно далеко, и сегодня создается совершенно новый общественный слой, а существенное изменение состоит в том, что партийную и государственную бюрократию постепенно вытесняет техническая интеллигенция или технократия. Знание становится властью, становится капиталом. И будущие конфликты внутри СССР, в рамках становления этой «Третьей революции», направлены не столько против бюрократии, сколько против технократии. Они будут происходить, главным образом, в интеллектуальном и духовном плане, а не в социально-экономическом.

Потому что смена политической власти интеллекту-

альной — как бы парадоксально это ни выглядело — ничего не меняет и не решает. Каждое научное знание (а в этом и есть сущность технократии) само по себе — власть. А как говорит Бердяев (в книге «Я и мир объектов», УМСА — Press, Париж, 1928, стр. 113) — власть возможна только над объектом, а не над субъектом.

Вопрос отчуждения не может быть разрешен до тех пор, пока существует какая бы то ни была власть. Как прекращение экономической власти (над средствами производства) не уничтожило власти политической, так уничтожение политической власти не уничтожит интеллектуальной власти технократии. А именно власть и создает отчуждение и делает невозможным контакт между людьми. Борьба против власти автоматически влечет за собой борьбу против «рацио», то есть борьбу против науки и познания, как цели жизни человеческой на земле.

Молодой Эренбург хорошо сказал в 1921 году в своем «Хулио Хуренито»:

«Палка в любых руках палка... сделаться мандолиной или японским веером ей весьма трудно. Правительство без тюрьмы — понятие извращенное и неприятное, что-то вроде кота с остриженными когтями...

Пройдут не годы, но эпоха, времена... пока люди не поймут, что дело совсем не в том, кто именно сегодня держит палку, а в самой палке, *пока не перестанут ее менять и не начнут ломать**).

Значит только уничтожение *любой* власти делает возможным духовное единение людей. Человека (к счастью!) невозможно принудить к добру. Человек и сам хочет выйти из своего одиночества, но всякое насилие

*) Выделенные жирным слова в изданном Государственным издательством художественной литературы в Москве в 1962 году первом томе 9-томного собрания сочинений И. Эренбурга (стр. 194) — выпущены. — Прим. пер.

мешает ему в этом. Как говорится в одной русской поговорке: «в рай палкой не загонишь».

Десталинизация как бы открывает возможность нового «обуржуазивания» СССР. Но это только видимость, потому что десталинизация — важный этап к новому объединению, но на этот раз не к насильственному. Советский Союз в настоящее время уходит из Азии и присоединяется к Европе.

СССР сегодня движется к демократии. И все, что ускоряет это движение, играет положительную роль. Ко всему этому необходимо еще: реабилитировать ценность свободы мысли, ценность подлинной демократии, вечную ценность автономной истины во всех областях человеческой жизни; покончить с негласностью и т. д.

Советская печать в последнее время улучшается с необыкновенной быстротой. Конечно, до тех пор, пока не существует неконтролируемого властью печатного органа, свободной печати не будет и, значит, не будет общественного мнения.

Большие перемены ожидают еще СССР, страну, отставшую в культурном отношении на два десятилетия от Западной Европы, — от ревизии мифа об Октябре (Здесь «Русская революция» Розы Люксембург сыграет большую роль, потому что именно Ленин подготовил путь Сталину, как Иван Карамазов был причиной поступка Смердякова), от критического подхода к «мифу о науке», от ревизии мифа о пользе любой работы и любой активности (работа и творчество — между ними такое же отношение, как между проституцией и любовью) — и до ревизии истории русской литературы и истории русской философии.

Ревизия двух последних уже началась. Перемены будут тем более значительными в зависимости от того, насколько более революционным будет молодое поколение, которое станет их проводить, потому что, как говорит Лукач в своей «Истории классовой борьбы»:

«Революционность определяется совсем не радикализмом целей и даже не характером средств, применяемых в борьбе. Ре-

волюционность есть тотальность, цельность в отношении ко всякому акту жизни». (По книге Н. Бердяева «Истоки и смысл русского коммунизма». ИМКА-Пресс, Париж. 1955 г., стр. 87).

С этой точки зрения мы могли бы сказать, что Пастернак более революционен, чем многие из тех кто его атаковал. Конечно, сам он этого не осознавал и идентифицировал насилие с революционностью.

В этом великом перевороте в СССР Югославия и в дальнейшем может играть громадную роль, столь же большую, как в 1948 году.

**Мертвый дом
Достоевского
И
Солженицына**

(К феноменологии рабства)

«Я человек. Не смейтесь, я на самом деле человек».

Герман Геринг. Из речи в берлинском Дворце спорта в 1939 году.

«В то время, как в обычной жизни каждый лавочник прекрасно умеет отличить утверждаемое от того, чем оно является на самом деле, — наша историография еще не дошла до этого тривиального познания. Она верит каждой эпохе на слово, что та сама о себе говорит и воображает».

К. Маркс и Ф. Энгельс. «Немецкая идеология».

В одиннадцатом номере самого известного советского литературного журнала «Новый мир» за 1962 год напечатана большая повесть А. Солженицына — «Один день Ивана Денисовича», тематически посвященная советским концлагерям. Сначала из-за ранее запрещенной темы, а потом и несомненно большой художественной ценности, повесть привлекла к себе внимание всей мировой общественности и принесла автору поистине заслуженную славу. В самый короткий срок она переведена на большое количество мировых языков, полемика же вокруг нее не прекращается ни на Западе, ни на родине писателя. В этом году она представлена к ленинской премии и является одним из семи произведений,

скорее всего могущих рассчитывать на получение оной.*)

Точно за сто лет до этого, в 1862 году, было напечатано произведение, принесшее мировую славу другому русскому писателю — Ф. М. Достоевскому, которое тематически было посвящено сибирской каторге. Это произведение называлось «Записки из мертвого дома»**)

Как между исторической реальностью, так и между тематикой произведений этих двух русских писателей есть много схожего, а много и различного, и тот факт, что оба писателя — большие писатели (мы думаем, что про Солженицына это уже сегодня можно сказать), создавшие нам образ времени и людей более яркий, чем могли бы его создать любые статистические данные и социально-экономические анализы, дает нам возможность, наблюдая и сравнивая живую реальность их произведений, сравнивать схожести и различия двух миров, двух жизней, двух времен, двух веков — девятнадцатого и двадцатого.

*) 22 апреля 1964 года центральные газеты опубликовали списки лиц, награжденных ленинскими премиями 1964 года, согласно которым в области литературы и журналистики премии были присуждены писателю О. Гончару за роман «Тронка» и журналисту В. Пескову за книгу «Шаги по росе») — Прим. пер.

**) Введение и первая глава «Записок из мертвого дома» опубликованы впервые в журнале «Русский мир» № 67 от 1 августа 1860 года. То же введение и первая и вторая главы снова напечатаны в том же журнале в № 1 от 4 января 1861 года, а в № 3 от 11 января 1861 года напечатана 3-ья глава; в № 7 от 25 января 1861 года 4-я глава. Затем все четыре главы перепечатаны в апрельской книжке журнала «Время» (1861 г.), и в том же журнале публикуется в продолжениях все произведение в августе, сентябре и ноябре 1861 года и в январе, феврале, марте, апреле, мае, ноябре 1862 года. В том же году «Записки из мертвого дома» выходят отдельным изданием. (Прим. М. Михайлова).

В 1861 году в Российской Империи крестьяне были освобождены от крепостной зависимости. В 1956/57 годах в больших масштабах распускались советские концентрационные лагеря. Оба писателя на собственном опыте испытали описываемую жизнь. Достоевский провел на омской каторге четыре года, Солженицын в сибирском лагере (каком?) — восемь лет. Конечно, и одному и другому необходимо было какое-то извинение за необычную и «щекотливую тему». Достоевский в нескольких местах подчеркивает, что таких каторг, как он описал, больше не существует:

«Я описываю, стало быть, старину, дела давно минувшие и прошедшие...»; «...в том недавнем прошлом, в котором свежо предание, да верится с трудом»; «Все, что я пишу здесь о наказаниях и казнях, было в мое время. Теперь, я слышал, все это изменилось и изменяется»^{*)}.

То же самое вместо Солженицына делает Твардовский, редактор «Нового мира», который в своей статье «Вместо предисловия», представляя советским читателям Солженицына, пишет:

«Жизненный материал, положенный в основу повести А. Солженицына, необычен в советской литературе. Он несет в себе отзвук тех болезненных явлений в нашем развитии, связанных с периодом развенчанного и отвергнутого партией культа личности, которые по времени хотя и отстоят от нас не так уж далеко, представляются нам далеким прошлым. Но прошлое, каким бы оно ни было, никогда не становится безразличным для настоящего. Залог полного и бесповоротного разрыва со всем в прошлом, чем оно было омрачено, — в правдивом и мужественном постижении до конца его последствий».

В обоих произведениях главные действующие лица, — Александр Петрович Горянчиков и Иван Денисович Шухов, — осуждены и проводят на каторге по десяти лет, но «Записки из мертвого дома» представляют

^{*)} Цитаты из «Записок из мертвого дома», Ф. М. Достоевского. Государственное изд-во художественной литературы. Москва, 1956 года. Том III.

собою, якобы, оригинальные воспоминания Горянчикова за все время его каторги, в то же время Солженицын, описывая жизнь, слова, мысли, и поступки своего героя только в течение одного дня, от побудки до момента, когда Иван Денисович засыпает, показывает нам то же самое, что и Достоевский.

В этих двух произведениях Достоевского и Солженицына существуют схожести, которые, конечно, следует приписать не влиянию великого русского классика, а только лишь похожей ситуацией. И Иван Денисович Шухов, и Александр Петрович Горянчиков спят на тех же нарах, рядом с юношами, — у Достоевского юношу зовут Алеем, у Солженицына Алешей, которые схожи не только именами, но и духовно и физически. Дагестанский татарин Алей, которого Горянчиков-Достоевский учит грамоте, выглядит вот как:

«Улыбка его была так доверчива, так детски простодушна; большие черные глаза были так мягки, так ласковы, что я всегда чувствовал особое удовольствие, даже облегчение в тоске и в грусти, глядя на него... Он был целомудрен, как чистая девочка, и чей-нибудь скверный, цинический, грязный или несправедливый, насильный поступок в остроге зажигал огонь негодования в его прекрасных глазах, которые делались от того еще прекраснее».

Солженицын описывает молодого баптиста Алешку так:

«Покосился Шухов на Алешку. Глаза, как свечки две, теплятся».

«...баптист Алешка, сосед Шухова, чистенький, приумытый, читал свою записную книжку, где у него была переписана половина Евангелия».

Оба находят блаженство в чтении Евангелия; Алей отвечает на вопрос Горянчикова о том, что ему в Иисусе Христе больше всего нравится:

«— А где он говорит: прощай, люби, не обижай и врагов люби. Ах, как хорошо он говорит!»

Баптист Алешка с бесконечно глубокой верой читает Шухову:

«Только бы не пострадал кто из вас как убийца, или как вор, или злодей, или как посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь».

И далее говорит Шухову:

«— Вот ведь, Иван Денисович, душа-то ваша просится Богу молиться. Почему же вы ей воли не даете, а?»

Достоевский пишет о русской жизни, уничтожаемой на каторге:

«И сколько в этих стенах погребено напрасно молодости, сколько великих сил погибло здесь даром! Ведь надо уж все сказать: вот этот народ, необыкновенный был народ. Ведь это, может быть, и есть самый даровитый, самый сильный народ из всего народа нашего. Но погибли даром могучие силы, погибли ненормально, незаконно, безвозвратно. А кто виноват?».

Солженицын, словами бригадира Тюрина, о студентах, едущих на практику и ничего не знающих о концлагерях, говорит то же:

«Едут мимо жизни семафоры зеленые...» (выделено М. М.).

И его дополняет критик В. Лакшин в «Новом мире» № 1 за 1964 год (в статье «Иван Денисович, его друзья и недруги»):

«Когда на картину труда жестоко-принудительного как бы наплывает картина труда свободного, труда по внутреннему побуждению, — это заставляет глубже и острее понять, чего стоят такие люди, как наш Иван Денисович, и какая преступная нелепость держать их вдали от родного дома, под охраной автоматов, за колючей проволокой».

Но рядом с удивительно схожими местами существуют в этих произведениях и значительные различия: герой Достоевского — дворянин, интеллигент, способный на глубочайшие проникновения в психологию преступления, преступника и несвободных людей; герой Солженицына обыкновенный русский земледелец, ставший затем рядовым Красной армии и «зеком», видящий ад, в котором он живет, глазами среднего, необразованного человека, — а это все определяет и язык,

которым эти произведения напиоаны. И герой Достоевского, и большинство каторжников, им описываемых, на самом деле совершили какое-нибудь преступление, что дает возможность писателю делать гениальные открытия в человеческой природе; герой же Солженицына и большинство его лагерных друзей по несчастью — невинные люди, над которыми днем и ночью совершается преступление. Разница и в том, что Достоевский подчеркивает: он рассказывает о самой тяжелой каторге, о том, что он находился в особом отделении, состоявшем из каторжан, охраняемым солдатами, несравненно более тяжелом чем два других отделения, в то время как Особлаг, в котором находился Иван Денисович, был несравненно более мягким, чем те лагеря, в которых он до этого находился — и по питанию и по режиму. Так, Иван Денисович вспоминает лагерь в Усть-Ижме, в котором он «доходил... кровавым поносом»:

«В усть-ижменском скажешь шепотком, что на воле спичек нет, тебя садят, новую десятку клепают».

Лагерь, в котором он сейчас находится, либеральнее — говори, что хочешь!

Но, несмотря на эти важные различия (у Достоевского подлинные преступники, у Солженицына — невинные люди; у Достоевского — самая тяжелая каторга, у Солженицына — один из «лучших» лагерей), чрезвычайно поучительно и интересно сравнить жизнь несвободных людей в XIX и XX столетиях, сравнить перемены в природе несвободы, совершившиеся за 100 лет, психологию заключенных прошлого и этого века. Потому что оба произведения описывают одно и то же — попытку превращения человеческих существ в рабов.

Мы подходим к «Запискам из мертвого дома» и повести «Один день Ивана Денисовича» как к наиподлиннейшим человеческим документам именно потому, что это — большие художественные произведения, и анализировать намереваемся их не с эстетической точки зрения (на их эстетическую ценность мы уже указали),

а только с социально-психологической, беря предметом своего интереса ту *жизненную реальность*, которую эти произведения изображают.

РЕЖИМ ЖИЗНИ

Самый тяжелый момент в жизни несвободного человека — это утреннее пробуждение. Нет, между побудкой в Мертвом доме и побудкой в спецлагере не существует никакой разницы.

У Достоевского:

«В кордегардии у острожных ворот барабан пробил зорю, а минут через десять караульный унтер-офицер начал отпирать казармы. Стали просыпаться. При тусклом свете, от шестериковой сальной свечи, подымались арестанты, дрожа от холода, с своих нар. Большая часть была молчалива и угрюма со сна. Они зевали, потягивались и морщили свои клейменные лбы. Иные крестились, другие уже начинали вздорить. Духота была страшная. Свежий зимний воздух ворвался в дверь, как только ее отворили, и клубами пара понесся по казарме. У ведер с водой столпились арестанты; они по очереди брали ковш и умывали себе руки и лицо изо рта. Вода заготовлялась с вечера парашником».

У Солженицына:

«В пять часов утра, как всегда, пробило подъем — молотком об рельс у штабного барака. Прерывистый звон слабо прошел сквозь стекла, намерзшие в два пальца, и скоро затих: холодно было, и надзирателю неохота было долго звонить.

Звон утих, а за окном, все же, как и среди ночи, когда Шухов вставал к параше, была тьма и тьма, да попадало в окно три желтых фонаря: два — на зоне, один — внутри лагеря.

И барака что-то не шли отпирать, и не слышать было, чтобы дневальные брали бочку парашную на палки — выносить.

Шухов никогда не просыпал подъема, всегда вставал по нему — до развода было часа полтора времени своего, не казенного, и кто знает лагерную жизнь, всегда может подработать: сшить кому-нибудь из старой подкладки чехол на рукавички;

богатому бригаднику подать сухие валенки прямо на койку, чтоб ему босиком не топтаться вокруг кучи, не выбирать: или пробежать по каптеркам, где кому надо услужить, подмести или поднести что-нибудь; или идти в столовую собирать миски со столов и сносить их горками в посудомойку — тоже накормят, но там охотников много, отбою нет, а главное — если в миске что осталось, не удержишься, начнешь миски лизать».

Так нас шаг за шагом вводят писатели в мир своих героев. Посмотрим сначала на «внешнюю» сторону жизни, которой живут Горянчиков и Шухов.

Разница существует в размерах лагеря и бараков: в бараках Мертвого дома спало по 30 человек, в бараках спецлага — по 400, что очень важно, если вспомним слова Достоевского:

«Впоследствии я понял, что, кроме лишения свободы, кроме вынужденной работы, в каторжной жизни есть еще одна мука, чуть ли не сильнейшая, чем все другие. Это: *вынужденное общее сожительство*». (Выделено у Достоевского. — М. М.).

Различаются заключенные и по внешнему виду. И у одних, и у других бритые головы, но в то время как каторжники Достоевского носят кандалы весом от 8 до 12 фунтов, прикованные к ногам и особым образом продетые сквозь брюки, чтобы не мешать при ходьбе, — Иван Денисович и его товарищи носят на себе только номера: на шапке, на левом колене, на спине и на груди, и обязаны их от времени до времени подновлять у бывшего художника, теперь лагерного рисовальщика номеров. Номер Ивана Денисовича — «Щ-854», так его и называют охранники и надзиратели, когда к нему обращаются. Это уже модернизация. Каторга XIX века знает только имена, а не цифры.

Существует между каторгой сто лет тому назад и современным лагерем разница и чисто техническая. У Достоевского — частокол, у Солженицына — колючая проволока и прожектора на вышках с часовыми. Конечно, и охрана вооружена немного иначе. В Мертвом доме — ружья, в спецлага — автоматы. Как во всех

тюрьмах, в Мертвом доме ежедневно совершается пересчет, охрана неоднократно ошибается.

Достоевский пишет:

«Здесь строятся арестанты, происходит поверка и переключка утром, в полдень и вечером, иногда же еще по несколько раз в день, — судя по мнительности караульных и по уменью скоро считать».

«Проверяющие часто ошибались, уходили и возвращались снова. Наконец, бедные караульные досчитались до желанной цифры и заперли казарму».

У Солженицына:

«Никак нельзя ошибиться. За лишнюю голову распишешь — своей головой заменишь...»

Конвой сумутится, толкует по дощечкам счетным. Не хватает! Опять у них не хватает. Хоть бы считать-то умели!.. Эти пересчеты ихние тем досадливы, что время уходит уже не казенное, а свое».

Как и во всех тюрьмах, ножи и другие острые предметы были строго запрещены, но все равно они есть у заключенных обоих веков; как во всех тюрьмах, так и на каторге Российской империи и в советском концлагере, деньги имеют большую ценность, чем на свободе.

Достоевский:

«Как бы ни была заношена вещь, все-таки имела надежду сойти с рук за какую-нибудь цену».

Солженицын:

«В каторжном лагере все цены были свои, ни на что не похожие, потому что денег здесь нельзя было держать, мало у кого они были и очень были дороги».

Крадут, конечно, в обоих Мертвых домах, с той разницей, что у каторжников Достоевского был свой сундук с замком, а лагерники Солженицына, если получают пакет из дома, — сдают его на хранение, где продукты не в безопасности, так как их крадет заведующий каптеркой. Подкуп процветает одинаково и в XIX, и в XX веке. Нары и параша, вероятно, мало изменились, а в бараках днем остаются обязанные следить за чистотой, (в обоих рассматриваемых случаях, инвалиды).

Утром, после подъема и завтрака — выход на работу. Но в то время, как у Достоевского каторжников, расходящихся в разных направлениях по местам работы, сопровождают лишь насколько стражников, у Солженицына картина более современная:

«А конвоиров понатыкано! Полукругом обняли колонну ТЭЦ, автоматы вскинули, прямо в морду тебе держат. И собаководы с собаками серыми. Одна собака зубы оскалила, как смеется над зэками».

И изоляция современного лагеря несравнимо больше. Начальник караула предупреждает заключенных перед выходом из лагеря — по концлагерной терминологии, читает ежедневную арестантскую «молитву»:

«Внимание, заключенные! В ходу следования соблюдать строгий порядок колонны! Не растягиваться, не набегать, из пятерки в пятерку не переходить, не разговаривать, по сторонам не оглядываться, руки держать только назад! Шаг вправо, шаг влево — считается побег, конвой открывает огонь без предупреждения!».

Достоевский описывает прохождение колонны через сибирский городок: каторжане переговариваются, шутят, подтрунивают один над другим, прохожие останавливаются, подают несчастеньким милостыню Христа ради.

У Солженицына ни о какой милостыне нет и речи. Но причина этого — не в изменении характера русского народа, всегда считавшего всех лишенных свободы людей «несчастными» и помогавшего им на каждом шагу, а в системе советских лагерей, при которой не было возможности вступать в непосредственный контакт с заключенными. Там же, где это было возможно, советские люди помогали заключенным так же, как и русские в XIX веке. В «Литературной газете» от 4 апреля 1964 года опубликована статья Валерия Осипова «Капран — рыцарь Севера», посвященная одному колымскому геологу — Капранову, который лишился жизни, защищая нескольких заключенных из бесчисленных колымских лагерей. Осипов пишет:

«Лагерная администрация, конечно, понимала, что у себя дома Капранов просто подкармливает заключенных, старается хоть чем-нибудь скрасить их безрадостное прозябание в лагере. Такие настроения были широко распространены в те годы среди вольных колымчан. Врачи, инженеры, геологи по мере возможности старались освобождать товарищей по профессии из числа невинно осужденных от катания тачки и использования их в лагерях по специальности. И это помогало очень многим из них сохранить физическое и душевное здоровье, а иногда просто спасало жизнь».

Когда мы сравниваем условия жизни, — режим, питание, работу, — мы делаем это не потому, что нас это занимает само по себе, а потому что эти условия определяют *степень несвободы* заключенного. Как говорит Солженицын:

«Дума арестантская — и та несвободная, все к тому же возвращается, все снова ворошит: не нащупают ли пайку в матрасе? в санчасти освободят ли вечером? посадят капитана или не посадят?»

У Ивана Денисовича и его товарищей нет ни минуты свободного времени. Работа целый день до темноты, с перерывом на обед, а после этого лагерники возвращаются в лагерь, ужинают и после нескольких проверок ложаться смертельно усталые спать. Солженицын пишет, что, не считая сна, лагерник живет для себя только утром десять минут во время завтрака, пять минут за обедом и пять за ужином. Один начальник лагеря пытался отнять у заключенных даже возможность передвижения внутри лагеря во время этого короткого свободного времени завтрака и ужина:

«Одно время начальник лагеря еще такой приказ издал: никаким заключенным в одиночку по зоне не ходить. А куда можно — вести всю бригаду одним строем. А куда всей бригаде сразу никак не надо, — скажем, в санчасть или в уборную, — то сколачивать группы по четыре-пять человек, и старшего из них назначать, и чтобы вел своих строем туда, и там дожидался, и назад — тоже строем.

Очень начальник лагеря упирался в тот приказ. Никто ему

перечить не смел. Надзиратели хватали одиночек, и номера писали, и в БУР таскали, — а поломался приказ...

Приказом тем хотел начальник еще последнюю свободу отнять, но и у него не вышло, пузатого».

Что касается воскресенья и государственных праздников, то и их отнимают у заключенных:

«...выходной и в зоне надсадить умеют, чего-нибудь изобретут — или баню пристраивать, или стену городить, чтобы проходу не было, или расчистку двора. А то смену матрасов, вытряхивание, да клопов морить на вагонках. Или проверку личности по карточкам затеют. Или инвентаризацию: выходи со всеми вещами во двор, сиди полдня.

Больше всего им, наверно, досаждают, если зэк спит после завтрака».

В «Записках из Мертвого дома» большое место посвящено описанию жизни каторжан в свободное время. В сравнении с обычными нормами XX века, некоторые картины из «самой страшной сибирской каторги» производят впечатление просто идиллии. Каторжане XIX века не работают в воскресенье, по несколько дней празднуют Рождество и Пасху, не работают, если у них именины. Еврею Исаю Фомичу закон гарантирует свободную субботу, чем, он, конечно, пользуется. Этой привилегией пользуются и мусульмане. Каторжане забавляются тем, что разводят разных домашних животных, козла Ваську, гусей. Достоевский пишет:

«Гуси у нас завелись как-то тоже случайно. Кто их развел и кому они собственно принадлежали, не знаю, но некоторое время они очень тешили арестантов и даже стали известны в городе. Они и вывелись в остроге и содержались на кухне. Когда выводок подрос, то все они, целым кагалом, повадились ходить вместе с арестантами на работу... Примыкали они всегда к самой большой партии и на работах паслись где-нибудь неподалеку».

Узнаем мы также, что каторжане в тюрьме «устраивали театр» на праздники и даже иногда у них были связи с женщинами: «Это, конечно, бывало, но очень редко и с величайшими трудностями».

Женщины упоминаются в лагере Солженицына всего один раз. Дежурный надзиратель перед завтраком повел Ивана Денисовича, — за то, что «по подъему не встал», — в карцер, но оказалось, что ему придется только вымыть пол в надзирательской. Это выглядело так:

Шухов
«...щедро разливая тряпкой воду, ринулся под валенки к надзирателям.

— Ты! гад! потише! — спохватился один, подбирая ноги на стул...

— Да ты сколько воды набираешь, дурак? Кто ж так моет?

— Гражданин начальник! А иначе его не вымоешь. Въелась грязь-то...

— Ты хоть видал когда, как твоя баба полы мыла, чушка?

Шухов распрямылся, держа в руке тряпку со стекающей водой. Он улыбнулся простодушно, показывая недостаток зубов, прореженных цынгой в Усть-Ижме в сорок третьем году, когда он доходил. Так доходил, что кровавым поносом начисто его пронесило, истощенный желудок ничего принимать не хотел. А теперь только шепелявень от того времени и осталось.

— От бабы меня, гражданин начальник, в сорок первом году отставили. Не упомяну, какая она и баба.

— Так вот они моют... Ничего падлы, делать не умеют и не хотят. Хлеба того не стоят, что им дают. Дерьмом бы их кормить».

Каторжники из Мертвого дома вечером занимались своими делами:

«Но только что заперли казарму, все тотчас же спокойно разместились, каждый на своем месте, и почти каждый принялся за какое-нибудь рукоделье. Казарма вдруг осветилась. Каждый держал свою свечу и свой подсвечник, большей частью деревянный. Кто засел тачать сапоги, кто шить какую-нибудь одежду... Кучка гуляк засела в уголку на корточках перед разостланным ковром за карты».

XX веку такой либерализм не знаком. Заключение, после мучительных проверок вне барака и в самом бараке, ложатся и тут же засыпают. Этим и оканчивается повесть Солженицына:

«Засыпал Шухов вполне удовлетворенный. На дню у него выдалось сегодня много удач: в карцер не посадили, на Соцгородок бригаду не выгнали, в обед он закосил кашу, бригадир хорошо закрыл процентовку, стену Шухов клал весело, с ножовкой на шмоне не попался, подработал вечером у Цезаря и табачку купил. И не заболел, перемогся.

Прошел день, ничем не омраченный, почти счастливый.

Таких дней в его сроке от звонка до звонка было три тысячи шестьсот пятьдесят три.

Из-за високосных годов — три дня лишних набавлялось...»

Что касается наказаний, Достоевский с большим психологическим мастерством описывает телесные наказания и отношение русских людей к этому мрачному обычаю. Нельзя забыть облик каторжника Орлова, смело «проходящего» 4000 ударов, с верой, что он останется жив и что ему удастся бежать на свободу. Ему не удается выдержать количества ударов, к которому он был приговорен за попытку бегства. За дисциплинарные проступки в Российской Империи в то время, когда Достоевский отбывал свою каторгу, платили собственной спиной. Как обстоит дело в советском лагере?

Солженицын описывает случай с бывшим кавторангом Буйновским, который протестовал против того, что лейтенант Волковой, начальник режима, на морозе в 27 градусов приказал заключенным раздеться, чтобы он мог проверить, не надето ли на заключенных больше одежды, чем положено:

«— Вы права не имеете людей на морозе раздевать! Вы девятую статью уголовного кодекса не знаете!..

Имеют. Знают. Это ты, брат, еще не знаешь.

— Вы не советские люди! — долбаит их капитан. — Вы не коммунисты!

Статью из кодекса еще терпел Волковой, а тут как молния черная, передернулся:

— Десять суток строгого!»

На первый взгляд, десять суток строгого карцера во всех случаях лучше, чем телесное наказание. Но не-

сколько позднее Солженицын описывает БУР, в котором находятся одиночки и куда уводят Буйновского:

«...стены там каменные, пол цементный, окошка нет никакого, печку топят — только чтоб лед со стенки стоял и на полу лужей стоял. Спать — на досках голых, если зубы не растрясешь, хлеба в день — триста грамм, а баланда — только на третий, шестой и девятый дни.

Десять суток! Десять суток здешнего карцера, если отсидеть их строго и до конца, — это значит на всю жизнь здоровья лишиться. Туберкулез, и из больничек уже не вылезешь.

А по пятнадцать суток строгого кто отсидел — уж те в земле сырой».

Как видим, карцер спецлага не Бог знает насколько лучше телесных наказаний. Вспомним, что это — Сибирь, где нормальная зимняя температура редко выше 20-ти градусов холода.

И за что же попадают в карцер? Солженицын пишет:

«Читали ж вот приказ по баракам — перед надзирателем за пять шагов снимать шапку и два шага спустя надеть. Иной надзиратель бредет, как слепой, ему все равно, а для других это сласть. Сколько за ту шапку в кондей перетаскали!»

Но, несмотря на современный карцер, и избиение еще не устарело в советском лагере. Вот как Солженицын описывает лейтенанта Волкового:

«Поперву он еще плетку таскал, как рука до локтя, кожаную, крученую. В БУРе ею сек, говорят. Или на проверке вечерней столпятся эки у барака, а он подкрадется сзади да хлесь плетью по шее: «Почему в строй не стал, падло?» Как волной от него толпу шарахнет. Обожженный за шею схватится, вытрет кровь, молчит: каб еще БУРа не дал.

Теперь что-то не стал плетку носить».

Отношение лагерных властей к заключенным можно проиллюстрировать отрывком из уже упомянутой статьи В. Осипова «Капран — рыцарь Севера» («Литературная газета» от 4 апреля 1964 года):

«— Люди могут погибнуть!

— Какие же это люди? — усмехнулся тот (представитель омсукчанской лагерной администрации. — М. М.) — это враги народа...»

Не лучше отношение к людям майора, начальника каторги Достоевского. Судя по всему, этот тип людей за сто лет не изменился. Изменилась техника, увеличились масштабы. Достоевский описывает одиночные случаи доносов, в особенности некоего Иванова, который сообщает майору обо всем, что происходит в казарме:

«...служил у него шпионом... У нас все это знали, и никто никогда даже не вздумал наказать или хоть укорить негодяя».

И еще:

«Что же касается вообще доносов, то они обыкновенно процветают. В остроге доносчик не подвергается ни малейшему унижению; негодование к нему даже немыслимо».

Солженицын описывает целую систему доносительства; в лагере доносчики связаны с «опером». Но в то время как каторжники Достоевского не возмущаются доносительством, советские заключенные на него реагируют.

«И правда, чего-то новое в лагере началось. Двух стукачей известных прям на вагонке зарезали...»

И это, по нашему мнению, единственная светлая черта в лагере XX века.

Побег рискован и почти невозможен и тогда, и сегодня; Достоевский описывает бегство двух каторжников, которым удалось скрываться в течение трех месяцев. Солженицын сообщает:

«Вообще, если кто бежал — конвою жизнь кончается, гоняют их безо сна и еды. Так так иногда разъярятся — не берут беглеца живым».

Схоже также отношение заключенных к тем, кто на свободе принадлежал к «высшим кругам». Каторжники Мертвого дома с презрением и злобой называют дворян — «муходавы». Такое же отношение у лагерников к бывшим руководящим работникам.

ПИТАНИЕ

«Если бы народ слишком хорошо жил, управлять им было бы очень трудно».

Талейран

Повторяем — нас не интересует разница в качестве питания каторжников сама по себе. Однако мы покажем, что *непрерывный голод* является только лишней цепью в несвободе человека. Большая часть повести Солженицына посвящена еде. Шухов о ней постоянно мечтает, все его помыслы вращаются вокруг возможности получения лишней порции баланды, с самого начала повести мы видим, как он прячет и зашивает в свой матрац полпайки хлеба (дневной паек — 550 граммов), чтобы сохранить ее на ужин, следим за всеми его мыслями и поступками во время завтрака, обеда, ужина. Лагерная жизнь развила в Шухове некоторые способности, малопонятные для людей, не побывавших в немецком или советском лагере. Как пишет критик Лакшин («Новый мир» № 1 за 1964 г., стр. 231):

«...большое, порой всепоглащающее значение имеют для Ивана Денисовича в лагере две заботы — не ослабеть от голода и не замерзнуть. В условиях, чем-то схожих с изначальной борьбой за существование, заново обнаруживается ценность простейших «материальных» элементов жизни, того, что всегда и бесспорно необходимо человеку — еды, одежды, обуви, крыши над головой. Лишняя пайка хлеба становится предметом высокой поэзии».

Сколько энергии, умения и изворотливости необходимо употребить для получения лучшей порции:

«Шухову сейчас работа такая: вклинился он за столом, двух доходяг согнал, одного работягу по-хорошему попросил, очистил стола кусок мисок на двенадцать, если вплоть их ставить, да на них вторым этажом шесть станут, да еще сверху две, теперь надо от Павла миски принимать, счет его повторять и доглядывать, чтоб чужой никто миску со стола не увел. И не толкнул бы локтем никто, не опрокинул. А тут же рядом вылезают

с лавки, влезают, едят. Надо глазом границу держать: миску — свою едят? или в нашу залезли?..

Шухов приметил, какие миски набраты, пока еще гущина на дно бака не осела, и какие по-холостому — жижа одна... И еще смекнул, каким поворотом поставить, чтобы к углу подноса, где сам сейчас сядет, были самые две миски густые».

Громадный успех этого лагерного дня для Шухова представляет двойная обеденная порция (ему удастся обмануть повара) и двойная порция ужина — заработал у другого лагерника, Цезаря Марковича, вместо которого он стоял в очереди за посылкой. Обед — не только физическое, а психическое событие:

«Начал он есть. Сперва жижицу одну прямо пил, пил. Как горячее пошло, разлилось по его телу — аж нутро его все трепыхается навстречу баланде. Хор-ро-шо! Вот, он, миг короткий, для которого и живет эк!»

Сейчас ни на что Шухов не в обиде: ни что срок долгий, ни что день долгий, ни что воскресенья опять не будет. Сейчас он думает: переживем! Переживем все, даст Бог, кончится!..

И стал Шухов есть капусту с остатком жижи. Картошинка ему попала на две миски одна — в Цезаревой миске. Средняя такая картошинка, мороженая...

Ужинал Шухов без хлеба: две проции да еще с хлебом — жирно будет, хлеб на завтра пойдет. Брюхо — злодей, старого добра не помнит, завтра опять спросит».

«Баланда не менялась ото дня ко дню, зависело — какой овощ на зиму заготовят. В летошнем году заготовили одну соленую морковку — так и прошла баланда на чистой морковке с сентября до июня. А нонче — капуста черная. Самое сытное время лагернику — июнь: всякий овощ кончается и заменяют крупой. Самое худое время — июль: крапиву в котел секут...

Главное, каша сегодня хороша, лучшая каша — овсянка. Не часто она бывает...

Сколица Шухов смолоду овса лошадям скормил — никогда не думал, что будет всей душой изнывать по горсточке этого овса!»

Может быть самые сильные сцены в повести Солженицына — это сцены из столовой. В небольшом по-

мещении обедают и ужинают сотни и сотни заключенных. Толпа осаждает вход, дежурные поддерживают порядок дубинками:

«Качается толпа, душится — чтобы баланду получить. Законную баланду».

XIX век не знает такого массового и постоянного голода в тюрьмах и на каторге.

Сегодня описание столовой в Мертвом доме звучит прямо идиллически:

«По всем углам и около столов разместились арестанты, в шапках, в полушубках и подпоясанные, готовые выйти сейчас на работу. Перед некоторыми стояли деревянные чашки с квасом. В квас крошили хлеб и прихлебывали...

Обедают не вместе, а как попало, кто раньше пришел: да и кухня не вместила бы всех разом. Я попробовал щей, но с непривычки не мог их есть и заварил себе чаю. Мы уселись на конце стола...

Арестанты приходили и уходили. Было, впрочем, просторно, еще не все собрались. Кучка в пять человек уселась особо за большим столом. Кашевар налил им в две чашки щей и поставил на стол целую латку с жареной рыбой. Они что-то праздновали и ели свое...

Внесли калачи. Молодой арестант нес целую связку и распродавал ее по острогу».

Горянчиков-Достоевский пишет:

«Также и пища показалась мне довольно достаточною... Хлеб наш был как-то особенно вкусен и этим славился во всем городе. Приписывали это удачному устройству острожных печей. Щи же были очень неказисты. Они варились в общем котле, слегка заправлялись крупой и, особенно в будние дни, были жидкие, тощие... Впрочем, арестанты, хвалясь своею пищею, говорили только про один хлеб и благословляли именно то, что хлеб у нас общий, а не выдается с весу».

Каторжники часто, ссорясь, говорили друг другу:

«...ишь, отъелся на острожном чистяке!» (Чистяком назывался хлеб из чистой муки, без примеси. — Прим. Достоевского).

И не только хлеб — острожные инвалиды могли вы-

ходить в город и покупать каторжанам мясо и все, что те хотели и на что у них хватало денег:

«Таким образом, они проносили табак, кирпичный чай, говядину, калачи... А зимой говядина у нас стоила грош».

Вот как там было перед Рождеством:

«К вечеру инвалиды, ходившие на базар по арестантским рассылкам, нанесли с собой много всякой всячины из съестного: говядины, поросят, даже гусей».

А вот как каторжник справлял свои именины:

«Арестант-именинник, вставая поутру, ставил к образу свечку и молился; потом наряжался и заказывал себе обед. Покупалась говядина, рыба, делались сибирские пельмени; он наедался как вол, почти всегда один, редко приглашая товарищей разделить свою трапезу. Потом появлялось и вино; именинник напивался, как стелька, и непременно ходил по казармам, покачиваясь и спотыкаясь стараясь показать всем, что он пьян, что он «гуляет», и тем заслужить всеобщее уважение».

Несмотря на то, что алкогольные напитки были строго запрещены, некоторые каторжники их постоянно проносили в острог и, если их ловили, расплачивались за это собственной спиной. На каторге иногда можно было напиться, — пишет Достоевский, — но тут же, с глубоким проникновением в человеческую душу объясняет, что это «пьянство» есть только функция свободы в человеке: весь смысл слова «заключенный» — в обозначении человека без свободы; а тратя деньги, он поступает уже по собственной воле.

Значит, голод не *поработал* жителей Мертвого дома. Не только это, но каторжники, как мы уже говорили, держали и откармливали некоторых животных. Лагерники XX века спорят, кто вылизет чужие миски.

Каторжники Мертвого дома кормят коня-водовоза Гнедка.

«И кто-нибудь непременно тут же вынесет ему хлеба и соли. Гнедко ест и опять закивает головою, точно приговаривает: «Знаю я тебя, знаю! И я милая лошадка, и ты хороший человек!» Я тоже любил подносить Гнедку хлеба».

Достоевский описывает и осторожную собаку:

«Жила себе собака, спала на дворе, ела кухонные выброски...»

Солженицын приводит разговор между заключенными, бывшим кинорежиссером Цезарем Марковичем и кавторангом Буйновским, о кадре знаменитого фильма Эйзенштейна «Броненосец Потемкин», в котором показывается реакция моряков на червивое мясо. Буйновский мечтательно говорит:

«— Думаю, это б мясо к нам в лагерь сейчас привезли вместо нашей рыбки, да не моя, не скребя, в котел бы ухнули, так мы бы...»

И еще одна разница — поваров в Мертвом доме выбирают сами каторжники. В спецлагере эти должности привилегированные, на них людей ставят по распоряжению свьше, а это означает, что большую роль здесь играет взятка.

ПРИГОВОР

Степень порабощения, несомненно, определяет желания и мечты несвободных людей. Рабы всегда большие мечтатели, это Достоевский замечает в «Мертвом доме»: «Тут все были мечтатели и это бросалось в глаза».

Все мечты, все желания каторжников вращались около свободы: «Цель у всех наших была свобода и выход из каторги», — пишет Федор Михайлович. Но свобода — понятие относительное. Наголодавшийся человек мечтает о свободе от голода. Зэки в спецлагере мечтают только о еде и сне. У Шухова — «В коечку больничную лечь бы сейчас — и спать. И ничего больше не хочется».

А о выходе из лагеря Иван Денисович так размышляет:

«Шухов молча смотрел в потолок. Уж сам он не знал, хотел он воли или нет. Поначалу-то очень хотел и каждый вечер

считал, сколько дней от срока прошло, сколько осталось. А потом надоело. А потом проясняться стало, что домой таких не пускают, гонят в ссылку. И где ему будет житуха лучше — тут ли, там — неведомо.

Только б то и хотелось ему на воле, чтобы — домой. А домой не пустят...»

Психология заключенных 19-го и 20-го века различается в одном очень существенном пункте. Сколь ужасны ни были наказания палками, плетьюми, железные кандалы, — каторжники из Мертвого дома знали, что их по истечении срока выпустят из каторги. Следовательно, приобретение свободы хотя бы отчасти зависело от их поступков, от их собственной личности. В советских лагерях заключенные полностью превращены в объекты, от которых вообще ничего не зависит, ни срок заключения, ни выход на свободу.

«Закон — он выворотный. Кончится десятка — скажут: на тебе еще одну» — пишет Солженицын. И дальше говорит: «Это полоса была раньше такая счастливая: всем под гребенку десять давали. А с сорок девятого такая полоса пошла — всем по двадцать пять, невзирая. Десять-то еще можно прожить, не околевав, — а ну, двадцать пять проживи?!»

И еще:

«Об этом старике говорили Шухову, что он по лагерям да по тюрьмам сидит несчетно и ни одна амнистия его не приконулась, а как одна десятка кончалась, так ему сразу новую совали».

Причины, по которым каторжники находятся в Мертвом доме, различны. Некий Баклушин из ревности убил немца, некий Шишков зарезал жену, трое дагестанских татар зарезали армянского купца. Сироткин сидит за убийство командира, молодой дворянин за убийство отца из-за наследства (обвинение впоследствии оказалось неверным, и история эта дала Достоевскому сюжет для «Братьев Карамазовых»).

«Были здесь убийцы невзначай и убийцы по ремеслу, разбойники и атаманы разбойников. Были просто мазурики и бро-

дяди — промышленники... А между тем у всякого была своя повесть, смутная и тяжелая, как угар от вчерашнего хмеля» — пишет Достоевский.

Был и десяток политических.

Приговоры были разные. Чаще всего от 8 до 12 лет, но были и осужденные на 20 лет, а затем на поселение в Сибири. «Автор» Записок, Горянчиков осужден за убийство жены.

В Особлаге все осуждены только на 10 или на 25 лет. Третьего не дано! Причины осуждения следующие: кавторанг Буйновский (зэк «Щ-311») попал в лагерь за то, что во время войны пробыл некоторое время в качестве офицера связи на британском боевом корабле при английском адмирале, который ему после окончания войны послал сувенир:

«...после войны английский адмирал, черт его дернул, прислал мне памятный подарок. «В знак благодарности». Удивляюсь и проклинаю!.. И вот — всех в кучу одну...» — рассказывает Буйновский.

Алеша, баптист, попал туда за религию, и Иван Денисович думает о таких, как он:

«Тоже горюны: Богу молились, кому они мешали? Всем в круговую по двадцать пять сунули. Потому пора теперь такая: двадцать пять, одна мерка». И говорит ему: «Христос тебе сидеть велел, за Христа ты и сел. А я за что сел? За то, что в сорок первом к войне не приготовились, за это? А я при чем?»

Иван Денисович попал в лагерь, как и бесчисленное множество других за то, что попал в немецкий плен, бежал и вернулся в Советскую армию. Солженицын описывает это так:

«Считается по делу, что Шухов за измену родине сел. И показания он дал, что таки да, он сдался в плен, желая изменить родине, а вернулся из плена потому, что выполнял задание немецкой разведки. Какое же задание — ни Шухов сам не мог придумать, ни следователь. Так и оставили просто — задание.

Расчет был у Шухова простой: не подпишешь — бушлат

деревянный, подпишешь — хоть поживешь еще малость. Подписал.

А было вот как: в феврале сорок второго года на Северо-западном окружили их армию всю, и с самолетов им ничего жрать не бросали, а и самолетов тех не было. Дошли до того, что строгали копыта с лошадей околевающих, размачивали ту роговицу в воде и ели. И стрелять было нечем. И так их помалу немцы по лесам ловили и брали. И вот в группе такой одной Шухов в плену побыл пару дней, там же, в лесах, — и убежали они впятером. И еще по лесам, по болотам покрались — чудом к своим попали. Только двоих автоматчик на месте уложил, третий от ран умер, — двое их и дошло. Были б умней — сказали б, что по лесам бродили и ничего б им. А они открылись: мол из плена немецкого. Из плена? Мать вашу так! Было б их пять, может сличили показания, поверили б, а двоим никак: стоворились, мол, гады насчет побега».

По той же причине сидит в лагере и Сенька Клавшин — герой восстания в гитлеровском концлагере Бухенвальде, который три раза бежал из немецкого плена и которого удалось психически убить только советскому лагерю:

«Сенька Клавшин, он тихий, бедолага. Ухо у него лопнуло одно, еще в сорок первом. Потом в плен попал, бежал, изловили, сунули в Бухенвальд. В Бухенвальде чудом смерть обманул, теперь отбывает срок тихо. Будешь залупаться, говорит, пропадешь...

Сенька, терпельник, все молчит больше: людей не слышит и в разговор не вмешивается. Так про него и знают мало, только то, что он в Бухенвальде сидел и там в подпольной организации был, оружие в зону носил для восстания. И как его немцы за руки сзади спины подвешивали и палками били».

Один эстонец сидит в лагере за то, что его родители, перед приходом советской власти в Эстонию, увезли в Швецию, маленький он был. А когда вырос, вернулся назад в Эстонию, добровольно, учиться. И, конечно, — в лагерь.

Бригадир Тюрин, который уже 19 лет в лагере, в 1930 году отбывал, двадцатилетним юношей, воинскую

повинность в Красной армии во время насильственной коллективизации. В его селе родителей объявили кулаками и Тюрин прервал со своими всякую связь, чтобы и самому не пострадать. Между тем, комиссар и командир полка, в котором служил Тюрин, как-то узнали, что Тюрин «кулацкого происхождения» — и выкинули его без документов и без одежды из военного городка, а это значит — прямо в лагерь. Вспоминая своих начальников, Тюрин рассказывает:

«Между прочим, в тридцать восьмом на Котласской пересылке встретил я своего бывшего комвзвода, тоже ему десятку сунули. Так узнал от него: и тот комполка и комиссар — оба расстреляны в тридцать седьмом. Там уж были они пролетарии или кулаки. Имели совесть или не имели... Перекрестился я и говорю: «Все же есть, Создатель, на небе. Долго терпишь, да больно бьешь».

Среди десятка людей, с которыми мы знакомимся, только один — настоящий преступник, один молдаванин, — настоящий шпион.

Об отношении между свободой и каторгой Достоевский писал:

«А бывают и такие, которые нарочно делают преступления, чтоб только попасть на каторгу и тем избавиться от несравненно более каторжной жизни на воле. Там он жил в последней степени унижения, никогда не наедался досыта и работал на своего антрепренера с утра до ночи; а в каторге работа легче, чем дома, хлеба вдоволь...»

Каждый раз при сравнении свободных людей и каторжников выходит, что разница не столь уж велика, говорит Достоевский.

Советские эски не могли похвастать, что им легче в лагере, чем на свободе. Но и они, как Достоевский, считали, что нет существенной разницы между жизнью лагерной и свободной. О тех, кто на свободе, они говорили: «Мы уже осужденные, а они еще под следствием».

РАБОТА

Большинство советских критиков наипохвальнойшей чертой в облике Ивана Денисовича Шухова считают его отношение к труду. Шухов охотно и хорошо работает — строит со своей бригадой здание. От выполнения нормы зависит и паек, то есть в прямом смысле слова — жизнь. Отношение к труду — один из основных критериев оценки людей в советском обществе. Следовательно, — плохо работающие *заключенные* — плохие люди.

Однако никто из критиков не замечает, что труд, то есть стройка, для Шухова не то же самое, что для кавторанга Буйновского или любого другого лагерника. Шухов и на свободе каменщик, хотя занимался этим делом время от времени; он умеет обращаться и с другим материалом — деревом. Для него работа в лагере представляет собой часть его деятельности из того времени, когда он еще был на свободе, а следовательно эта работа для него одновременно и *функция его свободы*. Но для Буйновского, который «на глазах доходит», — каторжная работа изо дня в день не функция свободы, а наоборот — лишнее звено в кандалах, причем самое тяжелое. И по нашему мнению, наиболее человеческой реакцией Буйновского был бы саботаж, бескомпромиссный саботаж любого строительства в концлагерных условиях. Потому что в его случае положительное отношение к труду означало бы положительное отношение к рабству. Достоевский необыкновенно глубоко проник в диалектику труда в своих «Записках из мертвого дома», поняв, что одна и та же работа может быть и рабством и свободной и что чрезвычайно вредно, когда *фетишизируют любую работу*, а именно это уже в течение десятилетий делают в СССР. Вот, что он пишет:

«Сама работа, например, показалась мне вовсе не так тяжелою, каторжною, и только довольно долго спустя я догадался, что тягость и каторжность этой работы не столько в трудности и непрерывности ее, сколько в том, что она — *принуж-*

денная, обязательная, из-под палки. Мужик на воле работает, пожалуй, и несравненно больше, иногда даже и по ночам, особенно летом; но он работает на себя, работает с разумной целью и ему несравненно легче, чем каторжнику на вынужденной и совершенно для него бесполезной работе.. Если теперешняя каторжная работа и безынтересна и скучна для каторжного, то сама в себе, как работа, она разумна; арестант делает кирпич, копает землю, штукатурит, строит; в работе этой есть смысл и цель. Каторжный работник иногда увлекается ею, хочет сработать ее ловче, скорее, лучше. Но если б заставить его, например, переливать воду из одного ушата в другой, а из другого в первый, толочь песок, перетаскивать кучу земли с одного места на другое и обратно, — я думаю, арестант удавился бы через несколько дней или наделал бы тысячу преступлений, чтоб хоть умереть, да выйти из такого унижения, стыда и муки. Разумеется, такое наказание обратилось бы в пытку, в мщение, и было бы бессмысленно, потому что не достигало бы никакой разумной цели. Но так как часть такой пытки, бессмыслицы, унижения и стыда есть непременно и во всякой вынужденной работе, то и каторжная работа несравненно мучительнее всякой вольной, именно тем, что она вынужденная...».

Весь этот народ, — говорит Достоевский, — работал из-под палки и значит, был бесплоден, значит, что он развращался морально; если он прежде не был испорчен, то портился на каторге.

Если исключить чисто техническую разницу, как, например, организация бригад в особлаге, — каторжники из Мертвого дома делали почти то же самое, что и зэки: «арестант делает кирпич, копает землю, штукатурит, строит...» — пишет Достоевский. Но в то время, как для концлагерников вопрос выполнения нормы — вопрос существования, каторжане из Мертвого дома, не всегда работавшие «на норму», предпочитали именно ее:

«Тут они словно чем-то одушевлялись и хоть им вовсе не было никакой от этого выгоды, но, я сам видел, выбивались из сил, чтобы ее докончить; даже самолюбие их тут как-то заинтересовывалось».

Достоевский с удивительной прозорливостью видит разницу между творчеством, то есть свободным трудом, который освобождает, и принудительной работой, порабощающей людей. Каторжники, выполняющие норму и после этого могущие вернуться в казарму и посвятить себя свободному труду, — быстро и охотно заканчивают работу. Достоевский говорит, что если бы не было этого их собственного ручного труда — тачания сапог, шитья, изготовления игрушек и т. д. — каторжники сошли бы с ума. В особлаге, как мы уже сказали, нет и речи о каком-то своем собственном свободном времени, и лагерники мечтают только об *отдыхе* и сне. Только освобождение от работы открывает возможности для творчества. И каторжники Мертвого дома едва могут дожидаться момента, чтобы начать свое творчество:

«Но только что заперли казарму, все тотчас же спокойно разместились, каждый на своем месте и почти каждый принялся за какое-нибудь рукоделие. Казарма вдруг осветилась. Каждый держал свою свечу и свой подсвечник, большею частью деревянный. Кто засел тачать сапоги, кто шить какую-нибудь одежду...»

Отношение же не только к работе, но даже к любому движению советских заключенных прекрасно видно из размышлений Ивана Денисовича о некоем враче, заведующем больницей в Особлаге, который:

«...выдумал всех ходячих больных выгонять на работу при больнице: загородку городить, дорожки делать, на клумбы землю нанашивать, а зимой — снегозадержание. Говорит, от болезни работа — первое лекарство.

От работы лошади дохнут. Это понимать надо. Ухайдакался бы сам на каменной кладке — небось бы тихо сидел».

Вот что думает Иван Денисович на осмотре в санчасти:

«Было дивно Шухову сидеть в такой чистой комнате, в тишине такой, при яркой лампе целых пять минут и *ничего не делать*».

ORA ET LABORA*)

— ИЛИ НЕБОЛЬШОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ О ТРУДЕ

«Общество никогда не сможет прогрессировать, а будет подвержено банкротствам до тех пор, пока каждый не станет заниматься тем, для чего он создан».

Р. В. Эмерсон

Значит — «От работы лошади дохнут!»

Маркс посвятил много страниц отчужденному труду (овеществление и отчуждение). Все же, к сожалению, сущность проблемы отчужденного и свободного труда (по нашему мнению лучше термины «работа» и «творчество») до сих пор в марксистской литературе в отношении «индивидуум — труд» глубинно до конца не раскрыта. Потому что дело здесь идет не об «освобождении труда», не об «освобождении от труда», а о творчестве, которое существенно от любого труда отличается.

Творчество не терпит *никакого принуждения*, — ни внешнего, ни внутреннего, добровольного. Для труда необходимо воспитание так называемых «трудовых навыков», а для творчества этого не нужно, потому что человек — творец по своей сущности и здесь ничего не нужно воспитывать (говоря языком Библии, «Человек создан по образу и подобию Божьему»). Все дело в том, чтобы сделать творчество *возможным*.

Детей никто не заставляет играть, а игра и есть творчество ребенка, — мы заставляем детей «серьезно учиться», приучаем их к «полезному труду» и т. п. и т. д. В гениях всегда есть что-то детское. И наоборот, Л. Толстой говорил, что большинство людей в пятилетнем возрасте — гении, а в 18-летнем посредственности. Для труда необходимы воспитание трудовых навыков, дисциплина, идеология и т. д. Для творчества существенно разрушение всего этого и освобождение *непосред-*

*) «Молись и трудись».

ственности. (Марьян Ципра: «Только разрушение заданного мира открывает возможности мира *данного*», — его цитирует в своей отличной книге «Заговор молчания» Вейсберг-Цибульский. Кстати, подлинной задачей педагогики было бы отклонение и разрушение всех внутренних и внешних преград, а не насаждение, построение и т. д., т. е. она должна была бы стараться, чтобы дети как можно дольше не становились бы взрослыми, «серьезными» людьми. — М. М.).

Классический пример отношения труда и творчества мы находим в небольшой пушкинской трагедии «Моцарт и Сальери». По-детски ветреный Моцарт не трудится — и ему все дается, а Сальери напрасно всего себя жертвует *труду* в музыке и в конце концов приходит к заключению, что правды нет не только на земле, но и на небесах, и *убивает* Моцарта.

Любой труд — рабство, а фетишизация труда — *фетишизация рабства*. Труд для человечества необходимое зло, но из того, что зло неизбежно, ни в коем случае не следует, что это зло — добро (вечная сказка всех педагогов). То, что человек еще до сих пор не может сбросить с себя оковы труда, — не значит, что оковы эти следует прославлять. Заставьте Бетховена или Моцарта заниматься любой другой деятельностью, кроме музыкальной, и вы превратите их в несчастных рабов — насколько бы *общественно* полезной ни была эта деятельность. Здесь мы приходим к кажущемуся парадоксу: чем больше человек защищает свою индивидуальность, тем «полезнее» он в общечеловеческом плане. Обыкновенный человек возлагает на себя ярмо труда или по нужде, или добровольно, *из солидарности* к другим людям, как тот учитель из Крагуевца, который добровольно пошел на смерть со своими учениками,*) а не

*) Во время оккупации Югославии гитлеровской Германией в городе Крагуевце, в отместку за деятельность югославских партизан, были расстреляны ученики средних школ обоих полов. — Прим. пер.

из так называемой «любви к труду». Человек по своей природе любит только творчество, а труд он способен лишь выносить. Вспомним бесчисленных рабочих, которые проводят ночи и ночи, строя какой-нибудь пароход из спичек или другой бесполезный предмет, но *работают* на своей фабрике только по материальной необходимости. Маркса годами освобождал от труда Энгельс, содержавший его вместе с семьей в то время, пока Маркс создавал «Капитал». Стендаль также годами бессовестно избегал своей работы консула Франции в Италии, чтобы писать романы, которые современники считали плохими (что сказали бы мы сегодня, если бы югославский посол в каком-нибудь государстве дерзко уклонялся от своей ответственной работы и писал книги, про которые наши признанные критики говорили бы, что они плохие?).

В то время, как в области труда вполне уместна формула: «Должное — выполнимо», в области творчества действует другая: «Должное — невыполнимо». Отношение труда и творчества соответствует отношению проституции и любви. Чем легче кто-то выносит работу, тем менее способен он к творчеству. Если употребить парадокс, то не труд создал человека, а *безделье* (вернее, безделье, которое делает возможным творчество). Вспомним слова Альбера Камю: «В античном мире были свободные люди только потому, что существовали рабы». Труд — это создание условий для поддержания жизни, творчество — создание самой жизни. Труд — средство для жизни, творчество — сама жизнь. Труд усыпляет, творчество пробуждает. Труд, как predetermined система психофизических движений, — это «жизнь» машины. Творчество — жизнь организма.

В «Энциклопедии Лексикографического Завода Югославије» понятие труда определено так: «Труд — целенаправленная и сознательная организованная деятельность людей, производимая ради достижения определенного полезного результата, которым может быть

удовлетворен определенный ряд личных, совместных или производственных потребностей. Т. — основное условие существования и развития общества»...

В отличие от этого, цель творчества — не «достижение определенного полезного результата... для удовлетворения потребностей». Цель творчества — в самом творчестве, как цель жизни — в самой жизни, и, в отличие от *труда*, творчество — это основное условие существования и развития индивидуума! Несчастье, когда работу и творчество идентифицируют, как это делает Большая Советская Энциклопедия (том 42, 1956 год), в которой творчество определено как «деятельность человека, создающая новые материальные и духовные ценности, обладающие общественной значимостью. Т., являясь результатом труда и усилий...». Это показывает, до какой степени в СССР укоренилось трагическое непонимание существенного различия между трудом и творчеством, и вскрывает источник абсурдного утверждения некоторых советских критиков, говорящих, что одна из положительных черт советских заключенных *коммунистов* — это их позитивное отношение к работе в лагере, то есть к своему рабству. Здесь советские критики сближаются с некоторыми католическими монашескими идеологами, чей основной лозунг, гарантирующий спасение души, — «Ora et labora» (т. е. молись и трудись). Этот же лозунг, вероятно, приняли бы и египетские фараоны (для своих рабов, разумеется).

Из всего этого следует, что освобождение от социальной эксплуатации не означает одновременного и окончательного освобождения человека, а только лишь открывает для него возможности и есть лишь одна из многочисленных ступеней на этом пути. Социальное освобождение и освобождение индивидуальное — идентичны. С точки зрения рабочего мало что меняется, если фабрика, в которой он *вынужден* работать, чтобы существовать, уже не принадлежит капиталисту, а ему и

его друзьям. До тех пор, пока человек вынужден трудиться, любое изменение в обществе — только замена стандартного концлагеря концлагерем с самоуправлением заключенных. Маркс это знал, а потому и предвидел окончательное освобождение человека (как *индивидуума*) только лишь в коммунистическом обществе, на высокой степени автоматизации производства. Поэтому чрезвычайно вредна фетишизация труда и пролетарского класса, десятилетиями проводящаяся в СССР. Суть не в том, чтобы все люди сделались пролетариями (а это значит — рабами), а наоборот, — освобождение человека возможно только тогда, когда пролетариат ликвидирует самого себя, как класс, то есть освобождается. Концлагеря, — как тот, в котором был рабом Иван Денисович, — представляют собой до конца материализованную *идею труда*. Все заключенные трудятся, и у них нет никакой возможности заниматься чем-либо другим, и если стать на точку зрения некоторых советских критиков, что труд — смысл и цель жизни на земле, то тогда существование *трудовых* лагерей во многом оправдано. Не случайно над воротами в гитлеровские лагеря красовались слова «Arbeit macht frei» («Труд освобождает»). Фетишизация труда рано или поздно доводит до создания лагерей принудительного труда.

Заключенные лагерей — полностью общественные существа. Как муравьи или пчелы, у которых если и есть совесть, то исключительно «общественная совесть». Фетишизация труда неизбежно приводит к борьбе со всякой индивидуальностью, потому что любое творчество в сущности своей *индивидуально* (насколько бы оно ни было общественно полезным, — этот парадокс мы уже приводили). Человек, к счастью, не исключительно «общественное существо», а *кроме прочего* и индивидуальное существо, и никогда не примирится со стремлением превратить его в исключительно «общественное существо», муравья, концлагерника — и об это ра-

но или поздно разобьются все тоталитарные системы, которые по сути не что иное, как попытка превращения общественного организма в общественный механизм. Различие же между организмом и механизмом в том, что в *организме* каждая составная часть живет собственной жизнью и именно своей жизнью делает возможной жизнь целого организма, в то время, как в механизме все составные части мертвы и именно этим *отсутствием жизни* делают возможным *функционирование* машины. Этим и объясняется кажущийся парадокс отношения «индивидуум — общество». Чем менее человек покоряется общественному механизму, тем более он делает возможным существование общественного организма. А чем больше подчиняется общественному механизму и становится безличной частицей машины, тем больше приближает *смерть* общества, как живого организма. Или даже больше — для общества полезнее всего экстремная, бескомпромиссная индивидуальность! А условие существования индивидуальности — творчество. Концлагерный труд, — последняя ступень человеческого рабства, — отнимает возможность творчества, а стало быть, и существование индивидуума, и превращает людей в неживые, но подвижные частицы механизма, тем самым убивая общественный организм. А в связи с этим: СССР индустриализован не *благодаря*, а *вопреки* сталинизму (сталинизму, а не Сталину!), который своей концлагерной системой затормозил и искалечил громадные творческие силы русского народа, *разбуженные* во время Октябрьской революции. Революции всегда — отрицание труда во имя творчества. Если бы сталинизм в тридцатые годы не вторгся во все области человеческой жизни, — сегодня бы СССР был несравнимо бóльшим индустриальным и культурным гигантом. Все утверждения о так называемой «исторической необходимости» сталинизма мы считаем абсурдными.

ФАБРИКИ ТРУДА

«Говорить человеку XX века о свободе — то же, что говорить слепому о красках».

Николай Бердяев

В IV томе «Энциклопедии Лексикографического Завода Югославии» в статье о концентрационных лагерях читаем:

«К. л. — места массового заключения гражданского населения, которые по организации и положению заключенных не отличаются ничем существенным от обычной каторги. Заключение в лагере, как правило, совершается без нормального судебного разбирательства, на основании решений военных и полицейских властей, обладающих на этот случай «секретными полномочиями». Заключение, зачастую, производится не в индивидуальном порядке, а распространяется на целые категории населения. Введение концентрационных лагерей обозначает переход к методам властвования путем массового устрашения и террора».

Концентрационные лагеря родились одновременно с 20-м столетием и, без сомнения, являются одной из самых характерных его черт и отображают до самой глубины процессы, развивающиеся за последнюю половину столетия, — то есть попытку уничтожения существования индивидуума и превращения человеческих существ в *трудовые машины*.

Первые концлагери были созданы англичанами во время англо-бурской войны (1899-1902). После этого лагеря появляются в Советской России. Уже в 1919 году ЦИК Советов издал декрет, на основании которого создавались лагеря принудительного труда. Вот как выглядел этот документ:

ДЕКРЕТ ЦИК СОВЕТОВ О СОЗДАНИИ ЛАГЕРЕЙ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ТРУДА

45. О лагерях принудительных работ (Собр. Узак. 1919 г. № 12, стр. 124)

1) При Отделах Управления Губернских Исполнительных Комитетов образуются лагеря принудительных работ.

Примечание: 1) Первоначальная организация и заведывание лагерями принудительных работ возлагается на Губернские Чрезвычайные Комиссии, которые передают их Отделам Управления по уведомлению из центра.

2) Лагеря принудительных работ в уездах открываются с разрешения Народного Комиссариата Внутренних дел.

2) Заключение в лагерях принудительных работ подлежат те лица и категории лиц, относительно которых состоялись постановления Отделов Управления, Чрезвычайных Комиссий, Революционных Трибуналов, Народных Судов и других Советских Органов, коим предоставлено это право декретами и распоряжениями.

3) Все заключенные в лагерях немедленно привлекаются к работам по требованию Советских Учреждений.

4) Бежавшие из лагерей или с работ подлежат самым суровым наказаниям.

5) Для управления всеми лагерями принудительных работ на всей территории РСФСР при Народном Комиссариате Внутренних Дел по соглашению с Всероссийской Чрезвычайной Комиссией учреждается Центральное Управление Лагерями.

6) Заведующие лагерями принудительных работ избираются местными Губернскими Исполнительными Комитетами и утверждаются Центральным Управлением Лагерями.

7) Кредиты на оборудование и содержание лагерей отпускаются Народным Комиссариатом Внутренних Дел в сметном порядке через Губернский Исполнительный Комитет.

8) Врачебно-санитарный надзор за лагерями возлагается на местные Отделы Здравоохранения.

9) Подробные положения и инструкции предлагается вы-

работать Народному Комиссариату Внутренних Дел в 2-х недельный срок со дня опубликования настоящего постановления.

Подписали: Председатель Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета *М. Калинин*.

Секретарь *Л. Серебряков*.

Опубликован в № 81 Известий Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Советов от 15 апреля 1919 г. Перепечатано в «Сборнике декретов 1919 года», стр. 80. Москва 1920).

Между тем, до 1929-1930 годов, до разгара насильственной коллективизации, лагерей было сравнительно немного, а только потом они множатся в геометрической прогрессии. Позже создаются знаменитые лагеря и «группы лагерей» — Соловки, Усть-Ижма, Колыма и Магадан, Воркута и Нарым (последние четыре лагеря упоминает Александр Твардовский в своей выдающейся сатирической поэме «Теркин на том свете», 1963 г.), а Центральное Управление Лагерями переименовывается в ГУЛАГ.

После советского государства лагеря основывает Гитлер, придя к власти в Германии. Перед началом Второй мировой войны в нацистской Германии было 6 концлагерей. Во время войны количество лагерей достигает астрономической цифры, а наибольшую известность получают так называемые «фабрики смерти» — Бухенвальд, Дахау, Освенцим (Аушвиц) и Маутхаузен. Говорить о немецких лагерях нет смысла — их мы знаем отлично.

О советских лагерях пишет молодой советский критик В. Лакшин следующее:

«Вся система заключения в лагерях, какие прошел Иван Денисович, была рассчитана на то, чтобы безжалостно подавлять, убивать в человеке всякое чувство права, законности, демонстрируя и в большом, и в малом такую безнаказанность произвола, перед которой бессилён любой порыв благородного возмущения. Администрация лагеря не позволяла экам ни на минуту забывать, что они бесправны и единственный судья над ними — произвол. Им напоминала об этом плетка Волкового, который

сек людей в БУРе, им напоминали об этом, мешая их отдыху в неурочный час» (В. Лакшин, «Иван Денисович, его друзья и недруги», «Новый мир» № 1, 1964 год, стр. 237-238).

Что касается заключенных в сталинских лагерях — к сожалению, нам неизвестны даже приблизительные цифры; единственное, что мы знаем, это слова Н. Хрущева на закрытом заседании XX съезда КПСС, то есть, что миллионы невинных советских граждан были подвергнуты жестоким репрессиям. Число же заключенных на каторгах царской России — известно. В 20-м томе Большой Советской Энциклопедии (2-е издание, 1953 год) под словом «каторга» мы находим точные данные о количестве каторжников за все царствование Романовых. В XIX веке число каторжан колеблется между 5 и 10 тысячами, кульминации же достигает перед началом первой мировой войны: в 1908 году — 16.000; в 1910 — 28.000, в 1912 — 31.000 каторжан — на всех каторгах Российской Империи.

Если учесть, что прирост количества населения в течение столетия на территории СССР равен 30%, а прирост количества заключенных — 10.000-50.000%, (а может быть, и больше), то это говорит не в пользу XX века.

Мы показали, что каторга, которую прошел Достоевский, — невинный санаторий по сравнению с лагерем Солженицына. Однако Тургенев считал, что некоторые страницы из «Записок из Мертвого дома» — «дантовский ад». Герцен тоже писал следующее:

«Кроме того, не следует забывать, что нам эта эпоха оставила одну устрашающую книгу, своего рода кармен хоррендум, которая будет вечно сиять над выходом из мрачного царствования Николая, как знаменитая дантова надпись над входом в ад: это — «Мертвый дом» Достоевского, страшная повесть, о которой, вероятно, и сам автор не предполагал, что, обрисовывая своей закованной в кандалы рукой фигуры своих товарищей по каторге, он создавал, описанием существа сибирской тюрьмы, фрески а ля Буанаротти». (А. И. Герцен. «Собранные сочинения», том 17-й, стр. 258)

Старый, наивный Герцен!

Однако наивны не только Герцен и Тургенев. Есть достаточное количество наивных и среди наших современников. Так, в советском журнале «Огонек» (№ 23 от 22 марта 1964 г.), в статье «Улица Салама Адила», автор И. Ирошникова потрясена ужасами современных иракских тюрем, в которых, — причем, в самой страшной из всех, тюрьме «Нукрат ас Салман», — томился иракский революционер, покойный Салам Адил. Как пишет Ирошникова, он своей жене

«рассказывал о днях заключения — о страстных шахматных турнирах, когда на самодельных шахматных досках пердвигались фигуры, сделанные из тюремного хлеба, и о докладах, состоявшихся в тюремных камерах».

Когда мы вспоминаем судорожную борьбу за кусочек хлеба, которую непрерывно ведет Иван Денисович, — ужасы тюрьмы, где из хлеба лепят шахматные фигуры, представляются нам как-то малореальными.

Расцвет концлагерей тесно связан с расцветом «государственности». Если мы вспомним, что Ленин в книге «Государство и революция» писал:

«Государство есть особая организация силы, есть организация для подавления какого-либо класса... все перевороты усовершенствовали эту машину, вместо того, чтобы сломать ее... Этот вывод есть главное, основное в учении марксизма о государстве... Мы ставим своей конечной целью уничтожение государства, т. е. всякого организованного и систематического насилия, всякого насилия над людьми вообще... Пока есть государство, нет свободы. Когда будет свобода, не будет государства» (Ленин. «Сочинения», том 25, Москва 1955, страницы 375, 378, 428, 440),

Нам становится ясно, что концентрационные лагеря ни в коем случае не присущи имманентно ни социалистическому обществу, ни идее социализма и что их существование было живым отрицанием социализма. По нашему мнению, самое положительное событие в развитии советского общества за последние десятиле-

тия, событие, равное победе над фашизмом во Второй мировой войне, — это факт, что сегодня о советских концлагерях в советском обществе открыто говорят и пишут. К сожалению, все еще существуют тенденции, стремящиеся уменьшить огромное отрицательное значение долголетнего существования множества советских лагерей, и этим в сознании людей тормозится освобождение человечности, а вместе с тем и возможность необходимой и неминуемой реабилитации самой идеи социализма. Так, в новейшем издании «Философского словаря» (Москва, 1963 год) на стр. 222 мы читаем, что

«Несмотря на то, что культ личности Сталина не смог изменить природы социализма, он все-таки был серьезным тормозом в развитии советского общества».

Нужно, наконец, открыто сказать: или «культ Сталина» существенно изменил природу социализма, или, если он ее не изменил, тогда и Адольф Гитлер — выдающийся социалист, в особенности если вспомнить его слова:

«Мы социализируем людей... Время личного счастья прошло, потому мы будем ощущать общее счастье... Я навяжу миру вечную революцию, которая охватит все области человеческой жизни... Потому что партия — неподкупный судья... Человек должен всегда стремиться к тому, чтобы преодолеть свои границы. Как только он останавливается в своих стремлениях, он опускается ниже человеческого уровня и становится полуживотным... Движение — это все. Необходимо быть постоянно в движении, потому что мир — зло... Я хочу истории против — поставить принцип разрушения истории... Дисциплина — это то, что держит все вместе, а не отдельные пункты программы... Человек — бог будущего... Нам нужны свободные люди, которые бога чувствуют в себе самих... Я разрушаю догмат об искуплении человека муками и смертью Христа и основываю новый догмат об искуплении человека жизнью и активностью... И Старый, и Новый завет — одно и то же жидовское жульничество... Мы — те, кто омолодит мир». (По книге Германа Раушнинга — «Мои доверительные беседы», Нью-Йорк 1940 г.).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

У каждого народа власть именно такая, какую он заслуживает.

Гете

Но собаки любят смирение и покорность в себе подобных.

Достоевский

(«Записки из Мертвого дома»)

В связи со всем сказанным сами по себе напрашиваются вопросы:

1. В чем именно заключается прогресс XX века по отношению к веку XIX? Не следует ли пересмотреть самую идею прогресса?

2. Какова сегодняшняя судьба лейтенанта Волкового, а также следователей, сославших тысячи и тысячи иванов денисовичей в обычные и особые сибирские концлагеря? Какова судьба остальных «эсэсовцев» из советских концлагерей? Судили ли их и если да, то где? А если нет, если виновны только Ежов, Берия и Сталин, то какое моральное право мы имеем судить Эйхмана и других гитлеровских палачей?

3. Когда начнут воздвигать памятники жертвам сибирских душегубок?

4. Будет ли на этих памятниках написано некое нравоучение в смысле осуждения так называемого «культы личности»?

5. Когда мы получим детальные сообщения, документацию, фотоснимки и т. д. и т. п. всех лагерей в истории первого социалистического общества?

6. И, наконец, — может быть, эти и подобные вопросы (все еще) непристойны, и не рекомендуется ли заниматься лучше лингвистикой или теорией логического анализа?

На последний вопрос мы сразу ответим: нет, нет и нет! Именно вера в возможность осуществления социализма и дает силы для детального рассмотрения страш-

ных последствий в человеческих душах, которые оставил многолетний мрак сталинского «социализма». До тех пор, пока не будут исследованы и опубликованы все, до последнего, преступления, совершенные за последние полвека во имя гуманности, — не будет устранено самое ужасное, самое страшное наследие «концлагерного социализма»: страх, что само по себе означает готовность к новому рабству.

Конечно, тяжело и мучительно смотреть открытыми глазами на такие факты, как существование «эсэсовцев» и «гестаповцев» в этой «гуманной, с голубиной душой, великой, братской, славянской, русской нации», которые ни на йоту не лучше подчиненных Гимлера и Кальтенбруннера. Но до тех пор, пока мы не поймем, что фашизм — понятие психическое, а не только социальное, что он не был территориально связан только с державами «Оси», что он появляется повсюду на земном шаре, во всех системах и у всех народов одновременно с потерей веры в непреходящую и абсолютную ценность самой живой реальности, — в существование индивидуальной человеческой личности, — пока мы не поймем этого, мы рискуем оказаться в положении героя восстания в Бухенвальде Саньки Клавшина, которого в советском концлагере сломил не террор, а потеря веры, вызванная как раз открытием, что то зло, против которого он боролся в Германии, существует и на его родине. По той же причине и нам советские лагеря кажутся страшнее немецких, несравнимо страшнее, хотя объективно они были с некоторых точек зрения «лучше».

И ответы на поставленные нами вопросы покажут, что выбор между Гитлером и Сталиным — не выбор. Как бы различно они ни были окрашены, сталинизм и гитлеризм — всё же явления одного и того же исторически-социально-психологического порядка, и (разрешите высказать одно смелое предположение) мы считаем, что общественная история Испании мало изменилась бы, если бы победила Республика, а не Франко, и

сомневаемся, что в Германии существовал бы намного более демократический режим в случае победы «немецкого Октября», а не ГНСРП. Вне зависимости от того, под каким флагом он развивается, во всем мире все еще происходит ужасный процесс превращения людей в какой-то, для нас еще до сих пор неизвестный, род живых существ.

Мы показали, что несвобода и давление, при помощи которого человека пытаются превратить в мертвую машину, в 20-м веке несравнимо более сильны, чем в 19-ом. Однако сам тот факт, что сегодня мы можем об этом свободно дискутировать, доказывает, что человек все-таки сильнее даже и этого давления. А в связи с прогрессом и с вопросом о самой идее прогресса, может быть было бы не лишним набросать гипотезу о том, что самый важный, самый существенный человеческий прогресс — именно в усилении сопротивления давлению. И если мы станем на некоторое время на эту точку зрения, то вся историческая перспектива во многом меняется, и мы начинаем понимать мысль Гете, что «у каждого народа власть именно такая, какую он заслуживает», или, другими словами, — никого невозможно терроризировать, если он сам этого не допускает. Конечно, если при этом мы стоим на точке зрения, что физическая смерть может означать и освобождение, а примирение с рабством — всегда смерть.

Еще в 1921 году Илья Эренбург писал в «Хулио Хуренито» следующее (Илья Эренбург. Том первый, стр. 164. Гос. изд. худ. лит. Москва, 1962 г.):

«Теперь человечество идет отнюдь не к раю, а к самому суровому, потогонному чистилищу. Наступают как будто полные сумерки свободы. Ассирия и Египет будут превзойдены новым, неслыханным рабством. Но каторжные галеры явятся приготовительным классом, залогом свободы, — не статуи на площади, не захватанной выдумки писаки, а свободы творимой, непогрешимого равновесия, предельной гармонии. Вы спросите — зачем это отступление назад или в сторону, эти бесцельные сумасбродные месяцы? ...Свобода, не вскормленная кровью, а подо-

ренная даром, полученная на чаёк, издыхает. Но помните, — это я говорю вам теперь, когда тысячи рук тянутся к палке и миллионы сладострастно готовят свои спины, — будет день, и палка станет никому не нужной. Далекый день!»

Что первая часть пророчества Эренбурга исполнилась, это мы знаем. Верим, что исполнится и вторая часть.

Как раз наша страна во время Народно-освободительной борьбы и в героическом 1948 году показала, что безграничное давление порождает безграничную силу сопротивления и что только эта сила сопротивления служит гарантией, что свобода не будет потеряна, как подачка.

Любое, даже самое малое рабство, начиная с лагеря Ивана Денисовича и кончая ежедневным «семейным» рабством, может быть полезным лишь с одной точки зрения, — если оно породит сопротивление, увеличивающее силу поработленного. Потому что надо навсегда понять: никто никому не может даровать свободу. Ни отнять ее. Человек — свободное существо по своей природе. Если он этого не знает, — он раб.

Будет ли человеческий род превращен в часть механизма, или после страшного процесса этого века станет свободней, чем когда-либо в истории, — этого мы еще не знаем; и нет никаких законов, которые бы нам гарантировали прекрасное будущее. Все зависит от нас самих, от того, смиримся ли мы и станем рабами (а эта опасность всегда существует!) или конечная и страшная угроза уничтожения живого в человеке вызовет громадную силу сопротивления и сломит давление не живого. Но уже эта борьба сама по себе, — как это устами Кириллова в «Бесах» пророчествовал Достоевский, — изменит человека даже физически. Как говорит гениальный русский мыслитель Лев Шестов: «Последняя, жесточайшая борьба ожидает человеческие души».

ОГЛАВЛЕНИЕ

Лето московское 1964	3
Югославия	6
МГУ	8
Положение в литературе	10
Академик Гудзий	23
Михайловский в Узком	24
Поиски Голосовкера	25
Владимир Дудинцев	27
Тамара Жирмунская	33
Фильмы	34
Театры	36
Леонид Леонов	45
Лагерные темы	48
Концлагерный фольклор	56
Белла Ахмадулина	65
Юрий Бондарев	68
Владимир Тендряков	72
Виктор Шкловский	76
Булат Окуджава	82
«Апологет абстракционизма»	92
Евгений Винокуров	94
Илья Эренбург	97
Лакшин и Солженицын	102
Андрей Вознесенский	104
Загорск	108

Русская философия	111
Антисемитизм	113
Психология «Гомо советикус»	115
Заключение и перспективы	129

Мертвый дом Достоевского и Солженицына (К феноменологии рабства)	137
Режим жизни	145
Питание	155
Приговор	159
Работа	164
Ora et labora или небольшое отступление о труде	167
Фабрики труда	173
Заключение	179

В издательстве «Посев» вышел сборник документов по делу Михайла Михайлова на сербскохорватском языке

Materijal o slučaju

МИHAJLO МИHAJЛОВ

**U vezi sa sudjenjem
u Zadru 22-23 septembra 1966 godine**

**OPTUŽNICA — ŠTA ŽELIMO I ZAŠTO
ŠUTIMO — ELABORAT — DJILAS I
DANAŠNJA JUGOSLAVIJA — OTVORENO
PISMO PRETSJEDNIKU TITU — ODBRANA**

**Цена НМ 3.70, в США, Канаде
и Австралии \$ 0.95.**

На складе издательства «Посев»

МИЛОВАН ДЖИЛАС НОВЫЙ КЛАСС

Исторические корни коммунизма — Особенности коммунистической революции — Партийное государство — Догматизм в экономике — Угнетение духа — Национальный коммунизм — Сущность коммунизма

246 страниц

цена НМ 4.00

Г Р А Н И

ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ ИСКУССТВА, НАУКИ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Основан в 1946 году. Редактирует редакционная коллегия. Главный редактор Н. Б. Тарасова. Ответственный секретарь Г. Т. Нашиваненко.

В журнале «Грани» были впервые опубликованы «Стихотворения Юрия Живаго» Бориса Пастернака, «Крохотные рассказы» Александра Солженицына, «Неспетая песня» Михаила Нарницы, «Сказание о синей мухе», «Веселенькая жизнь» и «Палата № 7» Валерия Тарсиса, материалы подпольных журналов московской и ленинградской литературной молодежи «Синтаксис», «Феникс 61», «Сфинксы», «Феникс 66».

Журнал выходит 2-4 раза в год.

Подписка на четыре номера включая пересылку в США, Канаде и Австралии — 7 долларов, в Германии 25 марок, во всех остальных странах эквивалент 26 немецких марок. В розничной продаже цена отдельного номера 7 марок или 2 доллара.

Подписку принимает издательство «Посев».

На складе издательства имеется ограниченное количество номеров журнала «Грани» за 1946-1966 годы. Каталог с указанием содержания наличных номеров высылается по требованию.

ТИПОГРАФИЯ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ПОСЕВ»

принимает коммерческие заказы на

ТИПОГРАФСКИЕ РАБОТЫ

на

РУССКОМ	РУМЫНСКОМ
АНГЛИЙСКОМ	СЕРБСКОМ
БЕЛОРУССКОМ	СЛОВАЦКОМ
БОЛГАРСКОМ	СЛОВЕНСКОМ
ВЕНГЕРСКОМ	УКРАИНСКОМ
ИСПАНСКОМ	ФИНСКОМ
ИТАЛЬЯНСКОМ	ФРАНЦУЗСКОМ
ЛАТЫШСКОМ	ХОРВАТСКОМ
ЛИТОВСКОМ	ЧЕШСКОМ
НЕМЕЦКОМ	ЭСТОНСКОМ
ПОЛЬСКОМ	языках.

Современные, постоянно пополняемые шрифты машинного и ручного набора. Тщательная корректура. Высокая и плоская печать. Современное графическое оформление. Расценки согласно германской тарифной сетке. Аккуратное и добросовестное исполнение любых заказов. Точное соблюдение договорных сроков.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПОСЕВ»

D — 6230 Frankfurt - Sossenheim
Flurscheideweg 15. Tel. (0611) 31 42 65